

ЮРИЙ ГОНЧАРОВ



**ВСПОМИНАЯ  
ПАУСТОВСКОГО**



**ПРЕДКИ  
БУНИНА**



ЮРИЙ ГОНЧАРОВ



*Гербъ рода*



*Бунинскіхъ*





ЮРИЙ ГОНЧАРОВ



ВСПОМИНАЯ  
ПАУСТОВСКОГО



ПРЕДКИ  
БУНИНА



ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ

КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В О Р О Н Е Ж — 1 9 7 2

Книга состоит из двух частей. Первая часть повествует о К. Г. Паустовском. Не каждому известно, что замечательный советский писатель любил черноземный край, бывал в нем. На тихой Усманке он ловил рыбу, не раз путешествовал по лесным дебрям Воронежского заповедника, в селах Черноземья у него осталось много друзей среди крестьян, с которыми он любил беседовать. Впечатления Паустовского вошли потом в его рассказы и повести. Автор этой книги был хорошо знаком с писателем, сопровождал его во многих экспедициях. Вспоминая о том, каким был Паустовский, он на конкретных эпизодах показывает, что дало для его творчества Черноземье.

Во второй части книги говорится о знаменитом русском писателе И. А. Бунине, его предках. Бунин — наш земляк, он родился в Воронеже. Но до последнего времени даже самые дотошные краеведы не знали, какой именно воронежский дом был колыбелью будущего писателя. Биография Бунина составлена далеко еще не в полном объеме. В частности, даже сам Бунин имел крайне скудные и смутные сведения о своих предках. Считалось, что они — выходцы из Литвы. А в действительности предки Бунина — уроженцы центральной России, коренные русские люди, отважные воины, в пределах нашего края оборонявшие рубежи государства от татаро-монголов. Эти факты, ранее неизвестные, и документальные материалы, их подтверждающие, читатели впервые найдут в книге Ю. Гончарова.

Книга принадлежит к жанру мемуарной, историко-исследовательской литературы, она будет полезна всем кто интересуется творчеством широко известных писателей и хочет больше знать об истории Черноземного края.







Теперь в этих местах поселилась обыкновенность. Теперь они людны, маленькие тихие деревеньки раздвинулись, иные так сомкнулись в одно бесконечно длинное село, телевизионные антенны торчат на крышах, транзисторы, силясь друг друга перекричать, орут вечерами на улицах, в кучках парней и девушек. Асфальтовые шоссе пролегли через поля, машины гудят даже ночью. До Малой Приваловки, до Никольского теперь можно домчаться из Воронежа за сорок минут...

А тогда, сразу же после войны, это была дальняя сторона. Оттого, что мужские крестьянские руки четыре года были заняты совсем другим делом, здесь так задичали луга, так разрослись камыши и кустарник, так загустел заповедный лес вдоль Усманки, такая вязкая устоялась здесь тишина, что край этот стал совсем глухим, попружился как бы в дремоту.

Колдовством, таинственным сном казалась непроницаемая чернота бездонных, неподвижных плесов на Усманке, таким же колдовством была безжизненная застылость ольховых роц на топких речных берегах, и непонятно было и даже внушало какую-то оторопь, что ольхи эти на кочках среди гнилой застойной воды не шевелят своей свинцово-серой листвой, когда весь остальной лес вдоль Усманки шелестит и трепещет под ветром. Загадкой, тайной, которую хотелось постичь, разгадать, выглядела полуразрушенная, размытая паводками плотина с торчащим из земляного вала частоколом толстых, полуистлевших бревен... Лисицы белым днем выбегали на опушку заповедного леса и, стоя на виду, в сухом зное, плывшем над степью, в зверином своем любопытстве, которое так же, как и человеческое, сильнее страха, разглядывали одинокого путника, идущего полевой дорогой. Дикие утки с выводками молодых утят, нежно посвистывая, не таясь, копошились в траве чуть ли не каждого водяного блюдечка на луговой равнине и взлетали

непугливо, даже неохотно, только потому, что так велит инстинкт, — когда подойдешь уже совсем близко, на бросок палки...

Тогда между Малой Приваловкой и Никольским, возле деревушки Лаптевки, в бывшую усадьбу писателя Александра Ивановича Эртеля, современника Чехова, приезжали литераторы из Москвы, Ленинграда и других городов, чтобы пожить в тишине, на деревенском воздухе и поработать над своими книгами.

Двадцатый век внешне ничего не изменил в этой усадьбе со старым одноэтажным домом, запущенным парком, двумя прудами, из которых один высох совсем, а другой больше походил на лужу. Каким-то образом в ней все же находили возможным существовать несметные множества карликовых карасей... Электричества и радио в доме не было, по вечерам зажигали и ставили по комнатам семилинейные керосиновые лампы, газету и почту привозили раз в три дня — совсем так, как сообщались когда-то с внешним миром усадебные микромиры. Не так уж много нужно было фантазии, чтобы и впрямь вообразить себя живущим в пору Чехова и Эртеля, представить себе мирное отшельническое течение усадебных будней. Тем более, что еще так много оставалось в усадьбе и в доме от семьи Эртеля, от него самого. По вечерам на крыльце дома мастерица на все руки Нина, и повариха, и горничная, раздувала эртелевский промадный полотораведерный самовар. Чай пили, пользуясь еще сохранившимися эртелевскими чашками, заварниками, подстаканниками, щипцами для сахара. Сам Эртель при этом по-чеховски устало-печально смотрел со стены столовой из рамы портрета, а в простенках между окнами высились стеллажи его домашней библиотеки, в которой каждая книга была помечена его личной фамильной печаткой. За усадьбой и хозяйством смотрел хитроватый, себе на уме, раздобревший на хороших харчах Иван Андреич. В прошлом простой усманский мужик, он служил у Эртеля в кучерах, когда тот жил еще близ Макарья, в здешних же местах, на арендованном хуторе Емпелево, возил его на охоту, и по делам, и к знакомым по всей округе. Понимая, чем может он быть интересен приезжим писателям, что может вышпать ему цену, Иван Андреич в каждом разговоре

с приезжими старался упомянуть про свою близость с Эртелем и что-нибудь рассказать. И действительно, в воспоминаниях его порою мелькали любопытные эпизоды, подробности. Никто не догадался их записать, бывший эртелевский кучер уже лет десять как умер, и теперь все это потеряно безвозвратно...

## 2

В Эртелевке два лета прожил и Паустовский — в 1946 и 1947 годах.

Помню утренний дачный поезд до Графской, просвеченный желтым солнцем, набитый сеном грузовик, который повез нас дальше. Мысль познакомиться с Паустовским, поговорить — у воронежских писателей и журналистов родилась как-то сама собой, сейчас уже не вспомнить, кто первый ее высказал...

Дорога через заповедный лес и потом по лугам и полям показалась длинной и трудной, оттого что дребезжащий, вдрызг избитый на ухабах грузовик едва полз, стреляя синим дымом, с натугой взбирался даже на невысокие подъемы, подолгу буксовал в песке, петлял по мокрым лугам, выбирая, где тверже и суше.

Паустовский шел по тенистой липовой аллее из глубины парка к дому. Я никогда не видел его раньше, только один или два фотопортрета в журналах. Но что может рассказать тусклое клише? Его портрет я сложил из его книг. Я видел его сухощавым, рослым, с той крепостью мышц, какая отличает спортсменов и моряков. Каким же еще может быть путешественник, искатель необычного, оставивший свои следы и на песке закаспийских пустынь, и на болотистых тропах северной тундры, человек стольких профессий, сколько было их у Паустовского, такого обширного жизненного опыта, такой богатой судьбы?

И меня поразило несоответствие моего мысленного рисунка, поразило, что Паустовский так невысок и при невысокости своей еще и сутуловат, что совсем уменьшает его рост, что шажки у него мелкие, а ступни какие-то даже не мужские, почти как у мальчика... Вот руки у него действительно оказались примечательные: крепкие, совсем не кабинетного, книжного человека,—

с широкими ладонями, широкими плоскими пальцами. Такие руки, такие ладони видишь у тех, кто в своей жизни поделал немало нелегкой работы — у плотников, каменщиков.

И еще удивило меня то, что плохо передавали фотографии, — его совсем не русское, а какое-то южное, турецкое, что ли, лицо: смуглое, горбоносое, с резкими морщинами по краям рта, с глубоко вдавленными под крутые надбровные дуги темными, блестящими, как два каштана, глазами.

Паустовский без торопливости пожал всем руки, вслушиваясь в фамилию каждого, вглядываясь каждому в лицо, как бы желая навсегда запомнить. Это была не просто вежливость — это был интерес к людям, человеку. Взгляд его темных каштановых глаз, направленный из-под крутых надбровий, казался очень проницательным, зорким. Потом мне предстояло удивиться еще раз — когда я узнал, что Паустовский страшно близорук, что обычно он носит очки и что стекла в этих очках равны минус восьми диоптриям. Однако, как видно, дело не в зоркости, а во внимании. Близорукость не мешала ему всех нас разглядеть и запомнить и никого потом уже не забывать, не путать имена, — сколько бы ни проходило лет между встречами.

— А с вами мы были в Коктебеле в тридцать... да, в тридцать девятом году, — сказал Паустовский писателю Сергеенко. И тут же пустился вспоминать: кто был тогда в Коктебеле еще, события того лета. К поезду на Москву ехали почему-то не в Феодосию, а в Симферополь, и Паустовский с видимым удовольствием припомнил детали этой поездки, забытые Сергеенко.

— Вот, говорят, для писательского труда нужно то, нужно это... Прежде всего писателю нужна память. Память — это основа писательства, — своим характерным, медлительным, хрипловатым голосом сказал Паустовский, растягивая по углам рта морщины и стараясь улыбкой смягчить учительское звучание этой, как видно, любимой им и не в первый раз повторяемой мысли. Почувствовалось, что он гордится своей памятью и не прочь ее продемонстрировать себе и другим...

Настоящая беседа о писательском труде началась после вечернего чая. Паустовскому на террасе поставили маленький столик, на который он ничего не положил, никакой бумажки, никакого конспекта, только коробочку спичек. Слушатели расселись на стульях.

Всегда были и есть в литературе люди, для которых никаких сложных вопросов в искусстве не существует, все для них ясно, разложено по полочкам; не загинаясь, они уверенно и авторитетно изложат, каких правил надо держаться, чтобы написать хороший роман, хорошую пьесу.

Паустовский заговорил о литературе как об искусстве, которое всегда было и всегда будет немножко волшебством. Мы об этом подчас забываем, но, право же, разве это не так? Разве не волшебство это — помазано красками на обычной холстине, из которой шьют мешки и матрацы, и вот уже столетие, заставляя сжиматься и холодеть сердце, в оранжевом блеске солнца, в реве ветра, несущего облака соленых брызг, катится на зрителя грозно вздыбившийся девятый вал, в котором собралась вся мощь, вся неукротимая сила разбушевавшегося океана... Или такие же мазки, как будто небрежные, торопливые, — и похищен у времени, у забвения чудесный, неповторимый миг: горят золотом и пурпуром осенние левитановские березки... Глыба глины, ее как бы даже не касались человеческие руки — так все угловато, неприглажено, рвано, клочкасто... И навеки, для всех будущих поколений, уловлен и сохранен пронзительный толстовский взгляд из-под мудрых бровей, нависших козырьками... А музыка? Что она может делать с человеческой душой? А чего можно достигать словами — вот теми словами, что на языке у каждого? Каждый их знает, каждому они доступны, все до единого собраны в словари; вот они — на полке, листай, они твои, готовы тебе служить... Но если творчество — не волшебство, не чудо, то почему же тогда так редко происходит такое, что рождается «Редеем облаков летучая гряда...»? Или страницы с юной Наташей Ростовой, молодым русским человеком, называемым князем Андреем?

В речи Паустовского не было слов, онимающих с

писательского дела дымку романтики, необычности, делающих этот труд совсем простым, общедоступным и во всем до конца объяснимым. Он не учительствовал, это был не мэтр перед толпою, он говорил как с душевно себе близкими, как бы вслух делясь своим удивлением и своими размышлениями по поводу того, как рождаются книги, из чего, из какого сложного сплава они возникают. Его занимала та химия, что происходит в мозгу и сердце, когда окружающее, мысль, чувство, воображение, соединяясь, рожают образы, картины, сцены, и мы, читатели, потом храним все это в себе, и это придуманное, никогда не существовавшее в действительности, живет в нас с силой и яркостью реального мира и зачастую владеет нами сильнее, чем то, что пережито в нашей собственной жизни. Писательский труд, писательское творчество, на взгляд Паустовского, было своеобразное таинство, не всегда понятное даже творящему. Вскочил же однажды ночью Державин, чтобы второпях записать приснившуюся ему оду «Бог» — и напечатал потом так, как приснилось, не помянув ни одного слова...

Из многих составных частей слагается писательский труд. Он не только тогда, когда писатель за столом, над бумагой. Он постоянен, всегда, в любую минуту жизни. Писателю надо уметь слушать — слушать природу, слушать людей, их язык, характерности их речи, потому что за этим открывается биография человека, его профессия. Паустовский заговорил об особом писательском зрении, о наблюдательности, привел в пример Грина. После Грина осталось много незавершенных рукописей, черновиков. В одном из них — описание сада, который был при доме Грина в Старом Крыму. Сад у Грина был маленький, а описание составило больше ста страниц — так умел Грин видеть и рассказывать о своих наблюдениях.

Тон беседы Паустовского постепенно менялся, где-то на середине он заговорил так, будто не просто излагал свои взгляды и принципы, но отвечал кому-то, с кем-то спорил — спорил со старым своим оппонентом, который ему давно уже надоед, от которого он давно уже устал, но вот — приходится повторять и повторять.

— Надо не бояться выражать себя, — с напорис-

той убежденностью сказал Паустовский, как бы нападая на невидимого своего оппонента, не принимающего этого очевидного принципа. — Нужно непосредственное выражение своего мироощущения. Бывает, что даже индивидуальные недостатки перерастают в достоинства. Стиль Толстого. У Родена был какой-то дефект зрения, предметы и людей он видел удлинненно и таких и изображал, и это помогло ему достичь особой выразительности... Когда пишешь, внутри надо открыть все «шлюзы», писать так, как будто только для самого себя, не сдерживать себя, не стесняться...

Как писать? В чисто техническом смысле — на машинке или от руки? А если от руки — то пером, карандашом? Я не совсем без багажа явился в Эртелевку на встречу с Паустовским, у меня уже было написано несколько рассказов, мне уже были привычны редакции, маленькая комнатка воронежского писательского союза в старом кирпичном доме возле Каменного моста, где регулярно собирались профессиональные литераторы и любители литературы, читали вслух и обсуждали чьи-нибудь произведения. Но я никогда не слышал, чтобы говорилось хоть что-то о самом процессе писания, никогда не наблюдал, чтобы это кого-нибудь интересовало. Булавин, например, — у него не было дома удобного места для работы, он приходил для этого в союз, — всегда стучал на машинке, почти не поправляя и сразу в двух экземплярах. Другие писали где-то и как-то, — никто не считал нужным об этом сообщать, этому не придавалось значения.

Паустовский коснулся и техники писания. Ведь это входило составной частью в писательство, волшебство, создаваемое буквами, черточками и крючочками на бумаге, — как же можно было пребывать безразличным к писательской технике, не выработать каких-то своих приемов, не поинтересоваться, — а как писали великие, те, у кого так сильно и здорово получалось: Толстой, Гоголь, Достоевский...

Раздвинув крепкие загорелые, по локоть обнаженные руки, ребром поставленными ладонями Паустовский показал на столе — на каких широких листах он пишет. Так нужно ему потому, что мысль во время писания — это непрерывный поток, рождается много других, непредусмотренных мыслей, и все это требует



быстрой фиксации, большой бумажной площади, на которой, не отрывая руки, можно было бы все это за-крепить. Потом можно переписывать как угодно долго, не торопясь, выпалывая словесный мусор, шлифуя фразы. А первый черновик, первая запись — это всегда стремительность, клочковатость, неразборчивые для других строки...

Все эти мысли, некоторые даже в том же словесном выражении, как было это произнесено на веранде эртелевского дома, я нашел потом, спустя несколько лет, читая «Золотую розу». Паустовский произносил перед нами конспект своей уже обдуманной, но еще не написанной книги, в которой он собирался оставить свой опыт, свое толкование писательского волшебства, советы молодым литераторам, всем, кто вздумает ступить на писательский путь, не зная сколь он нелегок, сколь мало заключает в себе комфорта и благ, и каких внутренних трат, какой энергии, какой выносливости он требует.

Пачка папирос лежала у Паустовского в левом нагрудном кармане рубашки. Опустив туда два пальца, он нашаривал папиросу, вытаскивал, разминал в пальцах — почти что одну за другой. Интересно он прикуривал — прямо от шипящей серной головки, не ожидая, пока загорится дерево спички. Попав года через два на Белое море, я увидел этот способ зажигать папиросы, крученные из газеты цигарки у матросов и рыбаков, у всех, кто работает на сильном ветру и знает, что прятать спичку в ладонях, загораживаться спиной — безнадежное на таком ветру дело...

#### 4

Зимой Паустовский напечатал в «Новом мире» два рассказа под общим названием «Воронежское лето». В них была Эртелевка, ее старый парк с необхватной липой в глубине главной аллеи, деревушка Лаптевка, стоявшая по соседству, за оврагом, деревенские мальчишки, приходившие на усадьбу выпросить рыболовные крючки и поглазеть на «настоящего» писателя, двенадцатилетний пастушонок Федя, каждый день пригонявший к опушке парка лаптевских коров. Этот Федя и после два или три лета пас стадо вблизи парка.

Со всеми приезжавшими в Эртелевку он был знаком, и его знали все. С какою-то своей тайной мыслью он все допытывался, когда кто «заступил в писатели» и сколько надо знать, чтобы самому писать книги. Еще Феде нравилась городская стрижка «под бокс», и однажды он попросил ножницы, через час пришел к эртелевскому дому, снял шапку и, страшно довольный, выставил на всеобщее обозрение затылок, выстриженный ступеньками...

## 5

Летом сорок седьмого года Паустовский приехал в Эртелевку снова. Он не очень любил бывать в одних и тех же местах, предпочитал видеть новые, но Эртелевка и ее окрестности заставили его сделать исключение из своих правил.

В комнате Паустовского стояли только кровать с металлической сеткой и; боком к окну, письменный стол из темного полированного дерева, — громоздкое, тяжелое бюро прошлого века, сейчас только в музеях увидишь такое: с массою ящиков и ящичков, полок и полочек для хранения писем и бумаг, с гибкой шторкой из деревянных реек, которую можно было вытащить откуда-то из скрипучих древесных недр и сразу наглухо закрыть и запереть на ключ и многоярусные полочки, и все, что на столе разложено.

На террасе, в беленном известкой углу, стояли удочки Паустовского.

К рыбалке я был привержен с детства и много повидал разных рыбацких снастей. Встретить красивые и дорогие удилища было не в редкость: после войны их много повнезли из Германии. Рыбаки азартно щеголяли друг перед другом тонкими, как паутина, лесками, блеснами невиданных прежде форм, клееными, из индийского бамбука, удилищами не в одну сотню рублей, напористо искали какие-то особые крючки — с какими-то по-особому заостренными, загнутыми бородками.

Удочки Паустовского были до удивления просты: из кривоватых прутьев, срезанных в орешнике, что рос неподалеку от дома, за конюшней. Вблизи у комля, где держит рука, он очистил их от коры, а даль-

ше — не тронул, оставил кору, чтоб древесина не сохла и не теряла гибкости. Грузила на лесках меня рассмешили: Паустовский сделал их из кусочков тюбика от зубной пасты. Такое было в пору деревенскому мальчишке, и совсем нельзя было совместить это с Паустовским-рыболовом, каким он представлялся по «Мещерской стороне»...

С улыбкой потрогал я эти грузила и... вот уже сколько лет сам делаю их только так. Они удобней любых других. Обычно вешают дробинку, две. Вес их постоянный. А поплавок во время лова, случается, намокает, начинает тонуть. Тяжесть грузила надо убавить, иногда самую малость. А как это сделать с дробинкой? Откусывать зубами? А если, напротив, надо такую же малость прибавить? С мягким же металлом от тюбика можно делать все, что угодно: отщипывать, прибавлять, чтобы кончик перьевого поплавка торчал из воды точно на полтора-два сантиметра. Когдаловишь мелкую рыбу — карасей, пескарей, плотву, окуньков, — такой поплавок самый чуткий. Едва повел его карась в сторону или даже еще не повел, только всосал крючок с розовым мясом червяка — уже это заметно, уже поплавок шевельнулся, или приподнялся, или слегка занырял, пуская по поверхности мелкие круги. Прозевать поклевку с таким поплавком невозможно.

Для рыбной ловли вокруг Эртелевки существовало несколько мест.

Можно было ловить карасей на пруду, почти возле дома. Выглядел он красиво: окруженный развесистыми дуплистыми ветлами, с шатким мостком, чтобы черпать ведрами воду для поливки огородных грядок, с зеленью ряски по краям, с земляною плотиною, на которой досыхал в полстволоа обломанный грозой тополь. Караси, что водились в пруду, от мелководья, тесноты и нехватки корма остановились в росте на одном стандартном размере: не длинней детской ладони. Паустовский называл их «грудными младенцами». Но зато брались они на крючок один за другим, это была азартная, веселая ловля, сулившая обильную добычу. Иногда удилище сгибалось в дугу, рука чувствовала на конце лесы живую, трепещущую, упирающуюся тяжесть. Это брал фунтовый зеркальный карп. Год или

два назад в пруд пустили молодежь, собирались откармливать, растить, но ничего не вышло, пруд карпам не понравился, они тут же перевелись, осталось совсем чуть, и выудить карпа считалось немалой удачей.

На Каменке ловля была не так добычлива. Речушка текла по дну отлогой лощины, что отделяла усадьбу от Лаптевки. Выглядела она нешироким ручейком. Но местами на ней еще сохранялись глубокие ямы — бочаги. Темная вода стояла в них неподвижно, как стекло. Мальчишки, купаясь, не доставали дна. Нырнув, они выскакивали, отдуваясь, обожженные в глубине ледяными струями ключей.

Рыба, что брала на Каменке, тоже была не бог весть какой величины, но зато это были настоящие речные плотвички, окуньки, красноперки, москленцы, юркие, стремительные, страшно сильные пескари, изгибавшиеся в кулаке, как пружина, норовившие его разжать и выскользнуть назад в воду. Никогда не было заранее известно, какая клюнет, неожиданности эти было не предугадать, поклевки всегда были разные и всегда радовали чувством настоящей охоты.

Ради рыбы посерьезней, той, которая возбуждает не насмешки над рыбаками, а почтительное уважение, надо было идти километров за пять, через поля, на Усманку, под железнодорожный мост.

Лучше всего было там на вечерней заре. Все застывало — и лес, и река, разлившаяся широким плесом. Янтарно-оранжевый на закате, он постепенно гас, темнел и при светлом еще небе с последними огненными мазками делался черным, как смола. Помня это, надо было иметь на удочках не цветные, а белые поплавки. На черной воде они остаются видны долго, до самых густых сумерек, и даже ночью — когда все вокруг уже неразличимо слито и смешано в одну сплошную темную массу...

## 6

Первый раз мы пошли на Каменку.

Но вначале отправились накопать червей.

Паустовский вытащил из-под террасы ржавую консервную банку, выплеснул набравшуюся в нее дождевую воду.

За конюшной он палкой разрыл старый навоз. Вокруг нас с сердитым жужжанием бесновались зеленые мухи, угрожающе гудели серые настырные слепни.

Зрелище мясистых, розовых, потревоженно извивающихся червей, норивших скрыться в трубчатых ходах, пронизывавших пласты навоза, было не из приятных. Червей я поддевал палочкой и бросал в банку. Потом, когда они присыпаны песком и как бы очищены им, не слизисто скользки, а шершавы от песчаных крупинок, их уже не так противно брать рукою. Но прямо из навоза... Никогда мне не удавалось преодолеть чувство брезгливости, которое невольно является.

Паустовский же, как истинный рыболов, давно привычный ко всему, с чем сопряжено это занятие, без всякого отвращения спокойно хватал червяков пальцами, вытягивал их, как резиновых, из навозных комков, деловито высматривая сквозь очки молодых, потоньше — для наших некрупных крючков.

Гудящий рой слепней двинулся за нами на Каменку. Наверное, они явились бы с нами к самой воде и испортили бы всё удовольствие, но мы нарочно прошли мимо Фединога стада, и слепни переключились на коров.

— Вон идет Роза, враг нашей Пальмы, — сказал Паустовский.

За Каменкой, на другом боку лощины, вдоль лаптевских огородов трусила белая длинноногая собака, недружелюбно посматривая в нашу сторону. Паустовский знал клички всех деревенских псов, знал, в каких они отношениях: кто с кем друг, кто кому враг.

Пальма, серая лохматая дворняга, добровольная и бескорыстная спутница Паустовского во всех окрестных экспедициях, забежавшая далеко вперед, — будто бы не заметив Розы, без поспешности, не роняя своего достоинства, вернулась к нам и пошла рядом. Этот скрытый, замаскированный ее вольт был насквозь понятен. Она как бы хотела сказать лаптевской Розе: ничего у тебя не выйдет, со мной мои друзья, и в обиду они меня не дадут.

Роза это уже поняла. Постояв на склоне, она рык-

нула раза два для порядка, лязгнув зубами, поймала пролетавшую мимо бабочку и с притворным равнодушием затрусила обратно, к лаптевским измам. То, что выражала ее лениво-самоуверенная трусца, тоже было понятно. Ладно, думала про себя Роза, еще будет случай, ты мне еще попадешься...

Паустовский подстелил под себя специально взятый для этого зеленый брезентовый вещмешок, сел на берегу, на короткую, сбрызнутую утренним дождем травку. Ловко, с одного раза, не возясь, как бывает у иных рыбаков, насадил на крючок червяка, взмахнул удилицем. Свистнула леса, алый поплавок из гусиного пера кувыркнулся в воздухе над его головой, как-то очень красиво и точно, описывая параболическую кривую, полетел тонким концом вперед и вонзился в густую синь бочага. Рядом с первым поплавком встал второй, немного в стороне — третий.

Закинул и я свои удочки.

Подождали. Не клевало.

Уже хорошо мне знакомым жестом Паустовский нашарил в нагрудном кармане папиросу. На нем была та же прошлогодняя, выгоревшая, светло-песочная рубашка необычного, какого-то полувоенного покроя, с отрезанными рукавами, вызывавшая представление о Средней Азии, палящем солнце, границе, протянувшейся по барханам, загорелых солдатах-туркестанцах с голыми ногами, в пыльных ботинках, в широкополых шляпах вместо фуражек. Рубашка действительно была оттуда, — из каракумских песков. Сейчас я уже не помню точно, как она появилась у Паустовского, но помню, что он об этом рассказывал. То ли он сам был в тех местах в исходе войны, то ли кто-то из друзей-журналистов ездил в командировку на автомобильную дорогу, по которой из Индии англичане доставляли в Советский Союз вооружение и военные материалы, и привез ему этот подарок — чтобы напомнить об азиатском зное, закаспийском безводье, голых берегах Кара-Богаза...

— Чтобы клевало — надо отвлечься, — как всегда глуховатым, медлительно текущим голосом сказал Паустовский. — Надо или закурить, или посмотреть в сторону. Обязательно начнет клевать, это я уже знаю...

Синий папиросный дымок поплыл с бережка над неподвижным зеркалом заводи.

Раз уж я это вспомнил — скажу и о других рыбацких приметах Паустовского. Были у него всякие. Но главным у него был принцип противоположности. Например, он считал: если река широкая, рыба будет лучше ловиться в узком месте. И наоборот: если река быстрая, надо искать тихую заводь. Если течение медленное — ищи быстрину. Если плес открытый, весь под солнцем, — устраивайся с удочками под деревом, в тени. Если плес в лесу и берега притенены, — выбирай бережок открытый, прогретый солнцем. В мутных водоемах он предпочитал участки с чистой водой. Если не клевало в чистой воде, Паустовский говорил, что надо слегка взмутить палкой донный ил, это привлекает рыбу. Я послушно пробовал применять его советы, и, случалось, они помогали. Как было не поверить, не послушаться, если свои приметы Паустовский подкреплял ссылками на авторитет Гайдара, Фраермана? Как-то вечером мы сидели с удочками на карасином пруду возле эртелевского дома. Сначала караси брали хорошо, а потом клев стал слабеть и пропал совсем. Было совершенно непонятно. Тихий, спокойный вечер с абсолютно ясным небом, безветренно, ласточки летают высоко, непогодой не пахнет, по всем признакам должна быть самая ловля, а караси — не берут, как будто их уже ни одного не осталось в пруду. Паустовский сказал: «Это они обленились, в дремоту впали, тихо уж очень, надо их расшевелить», — и попросил меня кинуть что-нибудь в воду с другого бока пруда. Всегда я знал, что когда рыбу пугают — она затаивается, уходит прочь от шума, бултыханья, и без всякой надежды начал шлепать по воде веткой, кидать на середину пруда мелкие яблоки-дички. И что же? Действительно, караси будто проснулись, вспомнили о своих обязанностях, и пошел такой клев, что только успевай таскать...

Но в этот раз на Каменке рыбацкие хитрости Паустовского не действовали. Мы закуривали, — и вместе, и поодиночке; оторвав глаза от поплавков, как бы совсем не интересуясь ими, смотрели на Лаптевку, на то, как женщины рыхлят на огородах грядки с картош-

кой, играли с Пальмой, уже вычесавшей мешавших ей блох и покойно растянувшейся подле нас на траве, — все было напрасно. Поплавки торчали, как впаянные. На один из них села стрекоза, наклонила его косо и тоже застыла, — вместе со своим отражением в мертвой, неподвижной воде...

## 7

Есть рыбаки упорные. Не клюет — все равно с нечеловеческой настойчивостью продолжает такой рыбак сидеть возле своих удочек, надеяться, менять приманку, передвигать поплавки и, глядишь, высидит-таки удачу, — на зависть тем, кто не богат терпением.

Я не относился и не отношусь к числу таких рыбаков. Интерес к удочкам у меня угас. Паустовский упорствовал: сменил на крючках червей, закидывал удочки правее, левее, у самого берега и на середину бочага. Но потом соскучился и он. И мы стали разговаривать.

Теперь, с дистанции времени, я понимаю, какие трудные вопросы я задавал Паустовскому. А объяснять надо было почти мальчишке. Правда, он, этот мальчишка, побывал на войне, окончил вуз, написал и напечатал несколько рассказов, но все равно еще слишком мал его багаж, жизненный опыт, чтобы осилить сложность некоторых ситуаций.

Но Паустовский все же ответил. Не в его натуре было уклоняться, прибегать в затруднительных случаях к молчанию. Потом, в последующие годы, он отвечал на эти вопросы множество раз — в каждой своей газетной статье, в каждом публичном выступлении, в каждой беседе с молодыми авторами, участниками творческих семинаров, в книге «Золотая роза», каждым письмом — были такие письма, и немало! — в которых он заступался за неправильно оцененных писателей и их книги; отвечал в разных словах, с разных сторон подходя к этим проблемам, на основе более чем полувековой своей писательской деятельности, на творческом опыте русских классиков, мастеров других эпох и других стран, показывая, что такое творчество, искусство, труд художника, какие условия



нужны для того, чтобы творчество существовало, не чахло, а было плодотворным, росло, давало людям настоящий духовный хлеб, а не суррогаты.

Вот один из таких ответов — статья в «Литературной газете» (20 мая 1959 года):

«Все написанное писателем очень точно показывает его с хорошей и с дурной стороны... Нельзя существовать в литературе тем, кто пытается сочетать служение полуправде и полуфальши со служением своему благополучию. Жалкой бывает судьба писателя, поступившегося правдой во имя далеких от литературы соображений. Народ все видит, все понимает с полуслова и никогда не простит писателю, как бы талантлив он ни был, ни фальши, ни обмана... Ничто так жестоко не оскорбляет человека, как авторское лицемерие. Потому что читатель справедливо убежден, что писательство — это не профессия, а жизненное призвание. Читатель убежден, что каждый настоящий писатель в то же время и борец за истину, справедливость и разум, и что он готов на величайшие жертвы во имя торжества своих идей».

Это тоже было ответом Паустовского, когда он высказывал свои мысли о том, как понимать современность:

«Современным в литературе и вообще в искусстве является все, что служит формированию и росту человека коммунистического общества. Это — кристально ясная формула. В противовес этому всеобъемлющему толкованию существует другое. Современным можно назвать, говорит оно, лишь то, что связано с текущим днем и его задачами. При таком взгляде на современность отбрасывается в сторону вся многовековая, в частности революционная, история страны и отодвигается в небытие ее великая культура, — одна из основ для создания культуры новой, чисто социалистической. Можно уговорить писателя заменить современность злободневностью, но тогда у нас не будет литературы в полном значении этого слова. Будет хроника, беллетризованная газета, скоростная повесть, скоростной и потому скоропортящийся роман...»

А так вот говорил он в одном из своих выступлений перед литературной молодежью:

«Для большинства читателей мы являемся носителями лучших чаяний человечества, его лучших свойств. Я думаю, что читатели правы в этом своем мнении, и поэтому будем помнить, что писателю много дано, но с нас много и спросится...»

А тогда, на берегу Каменки, задумчиво глядя на стрекозу, оцепеневшую на кончике поплавка, он ответил так:

— Выражение самосознания миллионных народных масс через искусство — это процесс широкий, нельзя без вреда заключить его в узкие рамки. Нужно все — и юмор, и сатира, и воспоминание о прошлом, и полезное плодотворное раздумье над настоящим. И такие мастера, как Ильф, Петров, Багрицкий... Артем Веселый, Андрей Платонов, Булгаков. Я уже не говорю о Грине. Вы читали Грина?

Сейчас Грин — любимый писатель юношества. На дереве у его могилы в Старом Крыму пионеры оставляют красные галстуки. В Феодосии, где он жил, в его квартире устроен музей — памятник писателю и героям его книг. Собрание сочинений Грина в шести томах издано полумиллионным тиражом.

Но тогда отношение литературной критики к Грину было иным. Грина не переиздавали, книг его не было в библиотеках.

Все же я кое-что читал из рассказов Грина.

Паустовский спросил — что мне больше всего понравилось.

Я сказал: «Алые паруса». «Автобиографическая повесть». И еще — рассказ. Не помню названия. Ночь, какой-то человек, кажется, его зовут Рег, въезжает на коне в город, охваченный чумой. На улицах — трупы. В подвале пирует компания обреченных. Человек приехал затем, что тут, в городе, хранится карта. Она не должна пропасть, ее надо спасти — на ней обозначен источник, способный исцелять людей, возвращать им силу и молодость.

— «Синий каскад Теллури»... — сказал Паустовский.

Я и сейчас слышу, как произнес он это слово: Теллури... С характерной своей глуховатостью в голосе, растянув два «л», как-то очень наполненно — так говорят о чем-то реальном, заветном, запечатлевшемся

во всех своих красках, подробностях. Синий каскад Теллури был для него не сказкой, он существовал в мысленном зрении Паустовского как реальность: в тишине накаленных зноем африканских дебрей фиолетовые ковры цветов окружали скалы, стояли непонятные, искривленные деревья с огромными листьями, бежала из тенистой расселины жгуче-холодная синяя вода, со звоном струй стекая в обширный природный водоем...

...Ворчание грома объяснило, почему неподвижны поплавки. За нашими спинами над потемневшей полосой эртелевского сада, заставив примолкнуть птичий щебет, расплывалось тугое облако. Нижний край его был тяжело налит предостерегающей синевой.

Усадьба была рядом, но вернуться мы не успели. Дождь ударил небывало крупными, как желуди, каплями. Сразу же белая завеса закрыла от нас парк.

Пальма могла бы домчаться единым духом, но собачья преданность не позволила ей покинуть нас, она предпочла терпеливо трусить вприпрыжку и так же насквозь измокнуть, как вымокли мы с Паустовским...

## 8

Бурная гроза, прошумевшая над парком, пошибала с деревьев сучья, запалила в Никольском колхозный коровник. За ней наступило затяжное многодневное ненастье.

Похолодало. Пепельная мгла волоклась над верхушками кленов. Не переставая, сыпал дождь, барабанил по крыше, на разные голоса журчал в водосточных трубах.

Нина, в мокро блестящих резиновых сапогах, принесла из сада сбитые грозой яблоки, положила в столовой на подоконниках, и по всему дому поплыл нежный, чуть слышный медвяный запах антоновки

Паустовского мучило удушье. Он лежал в своей комнате, читал старые журналы из эртелевской библиотеки — «Русское богатство», «Северный вестник». Когда астма отпускала — надевал плащ, берет, выходил на террасу и, с поднятым воротником, засунув руки в карманы, съежившись от сырости, подолгу при-

стально смотрел в небо, на вяло плывущую серую; безнадежно-унылую мглу. Не знаю, хотел ли он понять, долго ли еще протянется ненастье или, может быть, ему были интересны эта пепельно-серая мгла, смена ее красок, игра света и тьмы, медлительное движение туч, прижатых к земле собственной тяжестью.

Через год он написал «Повесть о лесах», где многие страницы звучат, как поэма в прозе, — благодарственное слово природе за все то доброе, что она дарит, низкий поклон русскому лесу, извечному источнику здоровья, радости, творческого вдохновения. В ней, как почти во всех книгах Паустовского, действовали излюбленные им персонажи, особый тип людей, любимый им и в жизни — мечтатели, художники, творцы, положившие своим кредо, своим жизненным назначением служить созиданию, благородной задаче — спасти и увеличивать естественные богатства мира, его красоту.

В одной из глав было описание летней грозы:

«Небо раскололось вдребезги ветвистой струей огня. Тяжелым взрывом грохнул весь горизонт. Ливень набирал силу. Запахло мокрой землей. Ветер стих, и теперь в ровный гул дождя вошел новый звук: рев и плеск потоков, мчавшихся по оврагам. Потоки вспухали, подмывали склоны. Глина глыбами падала в воду. Вода несколько секунд переливалась через эти глыбы грязными каскадами, потом размывала их и, вертя в водоворотах, среди пузырей и пены, утонувшего черного галчонка, неслась дальше.

Дождь стих только в сумерки. В обмытой траве наперебой кричали перепела. Туча уходила на север, еще лилась там черной стеной дождя на притихшие села, еще мигала зарницами...»

Где и когда впервые сложились у Паустовского эти строки?

Это уже не узнать. Но, открывая на этом месте книгу, я всегда вспоминаю эртелевскую грозу, ненастные дни и то, как он, сумрачный, горбоносый, похожий в мятом просторном плаще на нахохлившуюся птицу, в одиночестве, неизвестно о чем думая, подолгу пристально смотрел с мокрой веранды дома в серое, плачущее дождем небо...

Из Воронежа приехал композитор Массалитинов, шумным обществом явились московские литературные дамы, сотрудницы каких-то редакций и издательств, вместе с ними приехал, хилый юноша, сын московского поэта, известного не столько своими стихами, сколько тем, что он входил в окружение Маяковского 20-х годов, — и наше уединенное отшельническое житье с Паустовским кончилось.

Теперь по вечерам в столовой горели сильные керосиновые лампы. За чайным столом засиживались до полуночи.

Паустовский, близоруко щурясь, — если надо было отыскать горчицу или солонку, — на углу стола съедал свой ужин, пил чай, помешивая ложечкой в тонком стакане. Обычно он молчал, но при этом заинтересованно слушал застольные разговоры. Тонкая доброжелательная улыбка таилась в резких складках его лица, все время меняя оттенки, готовая проявиться открыто при каждой шутке, взрыве смеха за столом. Чувствовалось, что ему нравятся эти вечерние сборища за самоваром, роняющим красные угольки, непринужденность, общее оживление, остроумные реплики. От него ждали рассказов; незаметно он включался в беседу, начинал вспоминать что-нибудь из прошлого, и всякий раз непременно выходило, что главным рассказчиком вечера становился он. Общество за столом перегруппировывалось так, чтобы быть ближе к Паустовскому, лучше его видеть и слышать. Годы спустя, когда стали появляться его «Повести о жизни», в них оказалось много такого, что было рассказано в часы вечерних бесед за чайным столом эртелевского дома...

Вспоминал он без хронологии и последовательности, — как приходило на память, перемешивая эпизоды юности и своих уже писательских поездок в разные концы страны, службу в газете «Моряк» и пребывание на Южном фронте и в осажденной Одессе во время Отечественной войны. Ему пришлось жить в совершенно пустой, полуразрушенной гостинице с выбитыми стеклами, без электричества; чтобы умыться, надо было сойти в котельную, где из разбитых, пор-

ванных труб еще капала вода. И каждый раз при умывании он встречался еще с одним постояльцем, пожилым человеком в черных элегантных брюках от вечернего костюма и подтяжках поверх нижней бязевой рубашки. Иногда Паустовский ждал своей очереди у капающей трубы, иногда молчаливый постоялец. Это был норвежский король, покинувший свою оккупированную страну и совершенно одиноко, забыто застрявший в блокированной Одессе.

Правдоподобность этого рассказа была сомнительна, сомнительным он кажется мне и сейчас: что-то больше не приходилось мне слышать о норвежском короле, занесенном к нам войною. Паустовский, наверное, просто выдумал. Но даже если это и сочинено им, то сочинено талантливо, так, что не забудешь, как будто бы сам видел все это: Одессу, сотрясаемую мощной корабельной артиллерией, бьющей с моря по немецким позициям, пересохший во всем городе водопровод, пустую брошенную гостиницу с хрустальными люстрами, качающимися от пальбы и сквозняков, и благовоспитанного, вежливого норвежского короля, затерявшегося в вихревороте событий, покинутого спутниками, не знающего русского языка, с последним сохранившимся имуществом — зубною щеткой и полотенцем в темной котельной у капающей трубы...

За длинным столом, покрытым клеенкой, при жарко горящих керосиновых лампах, вокруг которых кружились надетевшие из парка бабочки, в закутанном в полумрак зале с портретом Эртеля на стене Паустовский рассказал почти все, что было потом им написано об Ильфе и Бабеле, Багрицком, Юрии Олеше, множество разных историй, — и вот эту, теперь широко известную: про жадного и хитрого старика, который ездил в трамваях старой Москвы бесплатно, потому что каждый раз подавал кондукторам такую крупную ассигнацию, что ее нечем было разменять. Рассказал, что стоила ему «Колхида», — как он едва не умер от лихорадки, которую схватил в болотах Рюна.

Литературные дамы с обручальными кольцами на пальцах казались мне давно уже перешагнувшими за порог молодости, но было это, как я понимаю теперь, совсем не так. Именно потому и царили за столом такое веселое оживление, готовность к острому слову,

шутке, смеху, всевозможным забавам. Однажды затеяли игру: один участник выходил за дверь, задумывали какое-нибудь известное имя, вернувшийся должен был его отгадать. Для этого он мог задавать какие угодно вопросы. Но ему отвечали только «да» или «нет». Допускалось спрашивать двадцать пять раз. Тот, кто, исчерпав этот резерв, не отгадывал, должен был нести наказание — что-нибудь исполнить, в чем был силен, например, прочитать на память стихи...

Первым задумали Чарли Чаплина, а отгадывать выпало сыну московского поэта. Парень боялся оконфузиться и вздрагивал от нервного озноба. Где-то на двадцатом вопросе он все же отгадал.

Дошла очередь до Паустовского.

Когда он вышел, глаза у всех зажигались хищным озорным блеском. В эту игру уже играли. Паустовский раскалывал загадки легко, как гнилые орехи. Надо было что-то изобрести, чтобы его помучить. Но что? На чем он мог бы споткнуться?

Кого-то гениально озарило: взять его собственную фамилию!

Когда Паустовского позвали из-за двери, всеобщее возбуждение, предвкушающее выражение лиц и блеск глаз были таковы, что и при самой минимальной наблюдательности стало бы ясно: устроен какой-то подвох. Но Паустовский по близорукости и в простодушной своей доверчивости ничего этого не уловил.

Началось отгадывание.

Первые три-четыре вопроса всегда стандартны — как начальные ходы шахматной партии, — пока игра не приобретет уже своего течения и характера.

— Деятель науки и техники? — «Нет». -- Его область — политика? — «Нет». — Художественное творчество? — «Да». — Живописец? — «Нет». — Музыкант? — «Нет». — Ага, значит, писатель?

Паустовский удовлетворенно двинулся на стуле; у него, несомненно, было чувство, что он стремительно идет к разгадке.

— Жив? — «Да». — Живет в Советском Союзе? — «Да».

— Писатель живет в Советском Союзе... — вслух подвел Паустовский итог тому, что уже обрисовалось. — Пишет на русском языке?

— Да.

— Для детей? Для взрослых?

Вопросы вызвали затруднение: книги Паустовского универсальны, одинаково интересны читателям всех возрастов.

— По складу своей прозы — эпический повествователь?

— Да...

Паустовский уловил неполноту этого «да».

— Или лирик?

— Да.

— Значит, и то, и другое? Хорошо, выясним тематику, — самому себе сказал Паустовский. — Писал о предреволюционной России? — «Да». — Писал о гражданской войне? — «Да». — Об эпохе первых пятилеток? — «Да». — Есть что-нибудь историческое? — «Да». — О путешествиях, открытиях? — «Да». — Какое, однако, разнообразие... Награжден ли он? — «Да».

Вопросы следовали дальше, но темп их замедлился: Паустовским овладевало недоумение, он явно не мог нащупать — кто же это?

— Но книги его популярны? Как писателя — можно назвать его заметным, мастером литературы?

Это была уже напрасная трата патронов — сомневаться, соблюдены ли правила игры.

Двадцать пять вопросов были еще не исчерпаны, но Паустовский сказал:

— Ладно, сдаюсь. Говорите — кто?

— Паустовский.

Отчетливая пауза продолжалась несколько секунд.

— Ну, это шутка, — сказал Паустовский огорченно-разочарованно. Весь вид его выражал: он старался всерьез, а его просто «купили».

— Известными из ныне живущих можно у нас назвать кого? — спросил он и сам стал отвечать, загибая пальцы: — Федина, Фадеева, Шолохова, Эренбурга...

Ему стали горячо доказывать, что список его не полон, он несправедлив в отношении себя, имя его и книги известны не меньше. Чем жарче ему это говорили, тем заметнее проступало в его лице несогласие, перераставшее даже в сердитую сумрачность. Было



видно: ему совсем не в удовольствие, что о нем так говорят, так его хвалят. И он не скромничает ложно, не притворяется, тая, как это бывает, в себе горделивое самодовольство, невидимо распускающее в такие минуты пышный павлиний хвост, — самым честным, самым искренним образом, всем своим внутренним чувством не считает, что к нему приложимы такие высокие оценки, и не может их принять.

## 10

Композитор Массалитинов тоже оказался рыбаком, но иного типа: несогласным довольствоваться тем, что могли предоставить любителю рыбной ловли ближайшие окрестности. Усадебный пруд вызвал у него презрительную усмешку, на карасей, плескавшихся в наших ведерках, он едва глянул, не признав их за рыбу. На Каменке даже не стал разматывать удочки. На Усманке, под железнодорожным мостом, где широкий черный плес рождал самые заманчивые ожидания, Массалитинов приготовился к единоборству с серийной рыбой, положил около себя в боевой готовности подсаk. Но на стальные шведские крючки и английские, окрашенные зеленовато, в цвет воды, лески ловились одни плоские серебристые москленцы, похожие на кильку. В досаде Массалитинов даже не нанизывал их на куkан — швырял Пальме. Пальма широко разевала пасть, и серебристые рыбки прямым путем пролетали в ее желудок. Именно ради таких подачек Пальма и увязывалась за рыбаками. Технику ловли она знала не хуже самих рыбодовов: пристально, не спуская глаз, следила за поплавками, повизгивала и дергалась азартно всем телом, когда они начинали шевелиться или тонуть.

Дня на два Массалитинов погрузился в уныние. Хмурый, озабоченный, отправился потолковать с лаптевскими стариками и вернулся от них с просветленным лицом, в деятельном оживлении, принес название Ледовского кордона. Кордон находился далеко от Эртелевки, в самой глубине заповедного леса. Вот там, по словам стариков, в тех труднодоступных дебрях Усманка еще сберегла в себе настоящую рыбу, какая в

ней когда-то водилась по всему руслу: крупных щук, окуней, двухфунтовую плотву.

Паустовского не пришлось уговаривать. Он соблазнился одним этим словом — кордон.

Рано утром эртелевский конюх — щуплый и шустрый мужичонка с раздвоенной по-заячьи нижней губой — запряг в пароконную телегу с щедро натрушенным сеном двух усадебных лошадей — Муху и Зорьку, положил таган и объемистый чутун, мешок с харчами, которые собрала Нина, и, провожаемая напутствиями: «Ни пуха, ни пера!», экспедиция к таинственному, заманчивому Ледовскому кордону двинулась в путь.

В кармане у композитора лежала бумажка, которой накануне он заручился в конторе заповедника от начальника лесной охраны. Начальник, как видно, был не шибкий грамотей. На бумажке бледными фиолетовыми чернилами было написано так: «Разрешение. Разрешается писателю Пусовскому и музыканту Мусолини в пределах заповедной территории ловить». Кого ловить, что ловить — указать писавший забыл. Далее следовала размашистая подпись.

Паустовский, прочитав бумажку, сказал, что, хотя она из конторы, все же лучше ее не показывать лесным сторожам, ибо, если разнесется весть, что в лесу находится Мусолини, — добром такое дело не кончится.

Темная гнедая Муха и рыжая Зорька, чувствуя, что это просто прогулка, бежали охотно, бодро. Зорька, шедшая пристяжной,гнула в сторону шею, из одной лишь шалости норовя куснуть на бегу колосья овса, дымчато-зеленой стеной протянувшегося вдоль полевой дороги.

Возница наш почти не правил. Приятно возбужденный тем же, что и лошади — что среди будничного однообразия досталось развлечение, он, видать, говорун и баешник, засмолив толстую цигарку, лицом назад, к пассажирам, сыпал разными веселыми историями, с ним приключавшимися, да на таком образном, занозистом языке, с такими неожиданными слововывертами, что речь его не передать сейчас. Такую речь надо записывать дословно, на магнитофоне, а по памяти — лучше не пытаться, только испортить.

Массалитинову эти истории были не нужны. Как человеку, не способному жить больше ничем иным, кроме идеи, им владеющей, болтовня возницы только мешала ему думать о рыбе, на которую было нацелено сейчас в нем все, о том, с какой по такому дню приманкой начинать ловлю, и о прочих вещах, которыми полна голова серьезного рыбака, когда он отправляется на охоту.

Паустовский, в сильных очках, в синем беретике, завернувшийся от пыли в плащ, прислушивался к байкам со сдержанной улыбкой в лице. Морщины на его висках сошлись лучиками. В них читалось удовольствие от складной, занятой, меткой народной речи, от того, с какими неожиданными поворотами говорливый возница с заячьей губой лепит слова, и вместе — тонкая ироническая усмешка, ибо уж очень смахивало на вранье все то, что возница подавал как истинную быль.

В Большой Приваловке наш кучер повернул лошадей в проулок, к лесу, синевшему вдаль, но попали мы не в лес, а на чей-то огород, где лошадиными копытами и колесами помяли грядки с картофельной ботвой и с хрустом раздавили несколько зеленых тыкв. Из хаты выскочила баба, закричала, замахала руками, кинулась к нам, подхватив с земли суковатую палку. Но возница успел развернуть лошадей, вытянул их по спинам кнутом, и они с громом понесли телегу прочь от огорода и его хозяйки.

Происшествие показалось смешным и тут же забылось, никто из нас не догадался, что оно предвещает. А это было начало неприятностей куда больших, чем те, что могли произойти от документа, лежавшего у композитора в кармане. Но обнаружилось это гораздо позже, уже на обратном пути...

Час или два мы ехали по просекам.

Близость Усманки угадалась по тому, что появились ольха, осина, деревья стали тоньше, жиже, гуще подлесок.

Бревенчатый дом лесного кордона стоял на теневой поляне.

На стук лошадиных копыт и на звяканье упряжи

вышел лесник в форменной куртке и фуражке с зеленым кантом. Пропуск он даже не стал читать, взглянул на него мельком, в руках композитора, — видать, почерк писавшего был ему хорошо знаком. Объяснил, как лучше проехать к реке, крикнул жене, чтобы вынесла молока.

На Усманку возле Ледовского кордона не стоило ехать, это стало понятно сразу, когда, оставив лошадей и телегу на сухой солнечной полянке, мы по зыбким кочкам пробрались к ней сквозь кусты. Реки, как таковой, не было, в русле сплошной стеной высился светло-желтый, в наш рост, камыш.

Полазив в шуршащих камышах в ту и другую сторону, промочив обувь, мы все же нашли открытую воду — две-три приличных бочажины. Без особой охоты и ожидания, только из того, что не возвращаться же сразу назад, забросили удочки.

Солнце висело уже высоко, воздух был неподвижен, густ, духовит, банно-горяч. Пришлось почти все с себя скинуть, но от этого только комарам стало легче жалить наши открытые шеи, руки, плечи.

Мои полавки долго пребывали в мертвом оцепенении. Потом один из них мелко задергался, не погружаясь, пошел в сторону, описал полукруг и остановился. Было похоже, что рыба лишь потянула приманку, не заглотав крючка, и бросила ее, и я не стал вытаскивать удочку.

Справа над камышами медленно всплывал синий папиросный дымок. Там устроился Паустовский.

Бездеятельно взирать на полавки скоро надоело. Надоело пекущее солнце над головой, хлюпающая грязь под ногами, пузатые черные головастики, неподвижно висящие у берега в воде с бессмысленно вытаращенными выпуклыми глазами, жадно сосавшие с поверхности воздух кругленькими дырочками ртов. Грех было мешать, но все же я пошел провести Паустовского.

Я увидел его сажающим на кукан приличного окуня. Еще два ходили на конце кукана, поменьше, но все-таки это была рыба, — такую уже не бросишь Пальме. На Усманке у моста и на Каменке таких окуней мы не ловили ни разу.

— Странно тут окуни клюют... — сказал Паустов-

ский.— Поплавок не топят. Отойдет в сторону — и станет. Думаешь — ничего, а потянешь — сидит...

Раздвигая руками камыш, я бросился к своему месту. Пробковый поплавок, что подергался и отъехал в сторону, краснел, как вишня, точно там же, где я его оставил.

Я схватил удилище, взмахнул и — непередаваемый, желанно-блаженный миг! — почувствовал упругое сопротивление, тяжесть на конце лесы, еще глубоко под водой, тяжесть, которую ни один мало-мальски смыслящий рыбак не спутает с зацепом: она живая, трепещущая, в ней сила, непокорность, отчаянная борьба; в ответ на нее, еще раньше, чем сознание скажет рыбаку, что ему повезло, такой же живой трепет азарта, удачи пробегает сквозь все его тело, электрическим током пронизывает пальцы и руку, поднимающую удилище.

Нет острее досады, чем сидеть без добычи на коллективной рыбалке, когда кто-то уже с уловом, соседи наполняют свои садки и куканы, а ты, точно в насмешку, вынимаешь только пустые крючки. Зато, когда в таком несчастливом положении привалит удача, да еще такая, что теперь уже очередь завидовать другим, — то и радость совсем особая.

Вот с такой радостью, безумно боясь выронить, упустить, держал я ледяного от донных ключей, плотно-тяжелого, как металлический слиток, темного окуня с лилово-бронзовыми оттенками, рвавшегося из моих рук и топырившего все свои колючие плавники. Крючок он проглотил так глубоко, что его даже не было видно в широко разинутый рот. Напрасно я силился его вытащить. Ножа, чтобы вспороть окуню брюхо, со мной не было. Я не придумал ничего лучшего, как потащить удочку и окуня Паустовскому, и он своими крупными сильными пальцами несколько безжалостно и резко, но зато мгновенно, умело и привычно высвободил крючок.

Близился полдень. Лошади, стреноженные, взмахивая хвостами, паслись на поляне. Кучер наш, накрывшись от мошкары рядом, спал в тени под телегой. Надо было подумать об обеде. Массалитинов и Паустовский время от времени подсекали какую-то мелочь, на мои же удочки рыба больше не шла, и, чтобы не

томиться у воды под палящим солнцем, стряпать обед вызвался я.

— А вы умеете готовить? — спросил Паустовский.

— Прекрасно! — сказал я.

Не знаю, почему, какой черт дернул меня за язык так сказать! Еще и сейчас этот ответ лежит стыдом в моей памяти. Умел я приготовить только то, что не требует никакого умения: сварить картошку, пшенную похлебку, зажарить яичницу.

Но я отважно, не испытывая на свой счет сомнений, принялся за дело: поставил на таган чугунок с водой, развел под ним костер. Кучер, почуявший, что мои хлопоты возле телеги означают желанную еду, проснулся и принялся помогать. Вместе мы почистили картошку, содрали с пары луковиц янтарную шелуху. Я задумал варить вермишелевый суп. Не хвалясь, должен сказать, что получился он, как говорится сейчас, вполне на уровне мировых стандартов. Когда я пробовал с ложки кипящее в чугуне варево — от аппетитных спазм слюна бежала из-под языка.

Был нарезан хлеб, тарелки расставлены, можно было звать к «столу». И в эту последнюю минуту в голову мне пришла безумная идея бухнуть в суп свежие помидоры. Видать, тот же черт, что подбил меня на самохвальство, теперь за него же меня и наказывал.

Когда горячий суп был разлит по тарелкам, композитор и Паустовский воззрились на него с удивлением, стараясь понять, что означает эта красная бурда.

Массалитинов поднес ко рту ложку, осторожно отведал. Лицо у него стало такого же цвета, что и сваренный мною суп. В следующее мгновение разразилась буря. Голодный композитор, давно уже вожде-ленно ожидавший обеда, ругался громогласно, в самых ядовитых выражениях оценивая мои поварские способности. Но не варить же суп снова! Ругаясь, он все же ел. Разваренные помидоры он злобно вылавливал в тарелке ложкой и швырял через плечо в кусты.

Я попытался пролепетать, что так варят похлебку пастухи в казахстанских степях, но от этой оправдательной попытки Массалитинов пришел только в еще большую ярость, и помидоры с его ложки полетели гораздо дальше, не в кусты, а через них, под ноги дремавших лошадей.

— Ничего, есть можно, — сказал Паустовский, попробовав суп. Уверен, это просто была его деликатность, доброта, — он милосердно спасал меня от позора. И, подтверждая свою оценку, он действительно съел полтарелки, однако не трогая помидоров, выбирая только картошку и вермишель.

Вторая половина дня прошла без рыбацких успехов: никто ничего не поймал.

Но все же это было не потерянное время. Мы слышали кабанов, шуршавших в камышах где-то в стороне и негромко похрюкивавших. Олень с ветвистыми рогами вышел из лесной чащи на другой стороне Усманки и целую минуту стоял, видный весь, давая себя рассмотреть и сам с любопытством рассматривая редкое для этих мест явление — людей. Сойка, за что-то нас ругая, перелетала вблизи с дерева на дерево, скрипуче, по-сорочьи, кричала. Две утки со свистом крыльев стремительно принесли откуда-то, с маху намерились сесть на чистую воду, на которой рдели наши поплавки, — видать, им было в привычку садиться здесь, — да вдруг, уже вытянув перепончатые лапы, приметили людей, тревожно закричали, захлопали крыльями и взмыли ввысь...

Уже длинные тени тянулись от деревьев. Серая мгла засинела под пологом листвы в глубине лесных чащ, стущевывая контуры древесных стволов. Отдохнувших Муху и Зорьку, досыта наевшихся вольной травы, взнуздали, опять запрягли в телегу.

Тронулись. Расчет времени говорил, что если ехать не торопясь, шагом, все равно мы доберемся домой еще засветло.

И вот тут началось. Оказалось, что разбитной наш кучер, бойкий на язык, один расправившийся с полуведерным чугуном забракованного супа, — хотя и житель этих мест — знает их слабо, дорогу помнит не твердо. К тому же у него была куриная слепота, он плохо видел в сумерках, но не предупредил нас об этом заранее и, главное, не хотел это показать.

Мы ехали просеками с час. Небо бледнело, погасало. Уже пора было выехать из леса, а он все тянулся. Наконец стало ясно, что мы едем совсем не туда.

Смутившись, но лишь на минуту, уверяя, что это все равно, можно выехать и так, кучер принялся разворачивать лошадей, повел их под уздцы и завел на вырубку, на пни. Телега подскакивала, кренилась, почти опрокидываясь. Казалось неминуемым, что спотыкающиеся лошади поломают ноги или треснут тележные оси, вылетят из колес спицы. Но — милосерден бог русского человека! Только чугун слетел с телеги. Его с трудом нашли в потемках, водворили на место.

— Ну, теперь дорога верная, — заявил кучер, разбирая вожжи. — Сбиться тут немислимо. Прямоком до самого дома...

Лошади пошли и почти тут же оказались в чаще осинника. Пришлось сызнова долго и трудно выбираться, с треском ломая тонкую поросль, опять наезжая на пни, стволы поваленных деревьев.

Ночь на беду была безлунная. Мы кружили в крошечной темноте леса еще с час, уже окончательно потеряв представление, где находимся, какого направления держаться. Один кучер не впадал в уныние. Всякий раз, выезжая на новую просеку или дорогу, он бодро заявлял, что вот теперь-то — дорога верная, сбиться больше немислимо, так прямоком до самого дома она и приведет.

Когда мы оказались на широкой накатанной просеке, кучер снова обрадованно заявил, что — вот она, наконец-то, мать ее так, именно та дорога, на какую с самого начала надо было попасть. Через версту Большая Приваловка, а там уже рукой подать...

Покрикивая, нахлестывая лошадей, он погнал их вскачь. Телега гремела так, что не слышать было собственного голоса. Мы летели в полном мраке. Чувство было жуткое. Каждая доска в телеге, все ее перекалдины ходили ходуном, казалось, что она уже разваливается. А шутоломный нап возница, гикая, пошвыстывая, все нахлестывал лошадей, разгоняя их шибче, шибче, — как только могли они нестись.

Впереди засветилось что-то желтоватое. Нельзя было понять — далеко это, близко. Я подумал — это огни Приваловки. Но желтое пятно стремительно росло и вдруг превратилось в окно, занавешенное шторкой, с цветочными горшками на подоконнике. В ту же секунду лошади с треском сшибли ограду из жер-



дей и, не в силах свернуть, остановиться, мотая задранными головами. влетели на крыльцо. Дышло ударило в дверь, как таран, и сшибло ее с петель. Нас сбросило с телеги, и мы покатались по земле кубарем, кто куда. Как все остались живы и даже невредимы — невозможно понять.

Никакая это была не Приваловка, а Ледовский кордон, вокруг которого мы все время кружили.

Такую ругань, какой наградил нашего возницу лесник, в одном белье выскочивший на крыльцо, мне и до сего дня больше не приходилось слышать, даже среди моряков сельдяного флота.

Наругавшись всласть, от бога и матери сойдя постепенно на не страшное уже ворчание, лесник показал настоящую дорогу, сам вывел на нее лошадей.

Домой мы попали, однако, еще не скоро, за полночь. Кучер умудрился заблудиться уже в Большой Приваловке, на ее улицах, и еще раз, возле самой Эртелевки, заехав сначала на овсы, а потом в лог.

В усадьбе не спали, тревожась, что с нами случилось, почему так долго нас нет. Иван Андреич, сопровождаемый Пальмой, даже выходил за пределы парка, к дороге, послушать — не гремит ли в ночи телега. На этой дороге, у въезда в усадьбу, он нас и встретил...

А наутро, за завтраком, Паустовский рассказывал обитателям дома обо всем, что с нами приключилось. Для всех это был занимательный, веселый рассказ, возбуждавший то и дело хохот.

А для меня это был еще и маленький, но памятный и дорогой мне урок, наглядный пример, как надо писателю видеть, запоминать, находить слова для выражения своих впечатлений. Это было тем более поучительно, что то, о чем рассказывал Паустовский, произошло только что, у меня на глазах и при моем участии. Вроде бы все до последней мелочи я видел сам, а вот, оказывается, не все и не так зорко, как он. И не такие точные изобразительные слова нашлись бы у меня, если бы я вздумал рассказывать.

Паустовский упомянул о пнях на Усманке от поваленных бобрами деревьев; я вспомнил, что действительно видел стесанные на конус пни, а вот же — не

остановил на них внимания, не заинтересовался, и так бы, наверное, осталось для меня неведомым, что это следы долгой ночной работы бобров, совершенно удивительных животных, обитающих в двух разных сферах — на суше и под водой.

Паустовский рассказал, как страшно одному возле бучила в камышах. Кромка берега тонка, гнется, оседает под ногами, вода бутылочная, темная, как в левитановском омуте, со дна временами возносятся крупные пузыри и не лопаются на поверхности, увязают в ряске, тине, и кажется, что это чьи-то глаза, каких-то подводных чудищ, которые всплыли из глубины, затаились, и с пристальным недобрым вниманием следят за тобой из своих тайных засад, ожидая какой-то минуты, мига...

Оленя он уверенно назвал матерым самцом — определил это по шерсти, по шрамам от битв в брачную пору, по ветвистости рогов. Приметил, что шерсть на нем отливала лиловым гляncем, что в зеленоватом сумраке листвы он и весь был лиловым, — не серым, не коричневым, а именно лиловым, чернильным. Вот уж этого я совсем не заметил, когда смотрел: видел просто оленя, оленя вообще — рослого, широкогрудого, настороженно поднявшего голову.

## 11

Никогда не прощу себе одного промаха! Сколько можно было бы сделать фотографий Паустовского в Эртелевке! Фотографировать я умел. Аппарата, правда, у меня тогда не было, но можно было у кого-нибудь попросить, взять. Пленка продавалась в магазинах, отличная, фирмы «Агфа». Почему я не догадался?

## 12

В одно из воскресений за Паустовским приехали из соседнего Никольского.

Это было не совсем обычное село. Издавна в нем действовал кружок любителей сцены. Основание ему положили сестра Станиславского и ее муж доктор Соколов, в конце прошлого века поселившиеся в Никольском с благородной целью — не только лечить мест-

ных крестьян, но и всеми способами просвещать их, возбуждать в них любовь к образованию, наукам, искусству. Соколов умер от тифа в годы гражданской войны, но доброе дело, которое он начал, не погибло, третий десяток лет продолжалось уже само по себе, превратившись для местного населения в потребность и привычку.

Случалось, что драматический кружок ставил и большие пьесы — Островского, «Власть тьмы» Толстого. До войны даже опера была поставлена — «Русалка» Даргомыжского.

Узнав, что Паустовский в Эртелевке, кружковцы решили превратить его пребывание в памятное для всех событие, подготовили спектакль по его небольшой пьесе, оповестили всю округу и пригласили Паустовского присутствовать. Такого в истории Никольского театра еще не бывало: спектакль с присутствием самого автора!

Вместе с Паустовским в Никольское отправились и все обитатели Эртелевки.

Я понимаю, как было бы сейчас интересно описать этот спектакль. Роль деда в нем играл колхозный пасечник, его внуки — ученица шестого класса.

Но на спектакль из спутников Паустовского никто не попал. В Никольскую школу, где должно было произойти представление, нельзя было проникнуть. Она была обложена плотной толпой. Известие, что приедет сам автор, собрало такую массу публики, какой не бывало еще никогда. На выгоне перед школой, как во время ярмарки, стояли телеги с распряженными лошадьми, жующими овес, несколько полуторок, привезших зрителей из отдаленных деревень.

Занавес собирались поднять в шесть часов, но школа была набита уже с половины дня. Люди сидели внутри, распаренные, как в бане. Не втиснувшиеся в зал грудились снаружи, возле окон. Опоздавшие мальчишки ловчили ввинтиться в толпу, проползти под ногами у взрослых.

Паустовского все же повели в зал. Плечистые деревенские парни, активисты порядка, действуя своими могучими плечами, прокладывали ему сквозь толпу путь.

В шесть часов в летнюю пору совсем еще светло. Но потому, что окна во всю высоту заполняли зрите-

ли, оставшиеся снаружи, в помещении пришлось зажечь керосиновые лампы.

Раз уж собралось столько народу — следовало, конечно, перенести спектакль на воздух. Но декорации соорудили на школьной сцене, перестраивать заново было уже некогда.

Изнутри слышалась игра на баяне — увертюра. Спектакль начался.

Можно представить, каково было высидеть Паустовскому с его астмой полтора часа без кислорода, в банном пару человеческого дыхания, в чаду керосиновых ламп, и каким получился спектакль, в котором по лицам актеров тек грим, а суфлер с последней репликой бросил свои суфлерские тетрадки, опрометью выскочил из школы и прямо в штанах и рубахе бухнулся в пруд.

Но Паустовский, несмотря на все, что пришлось перетерпеть, вернулся со спектакля в настроении полного удовольствия от всего виденного. Удовольствия особого, писательского, в преизбытке нагруженный всякого рода наблюдениями, подробностями, каких не выдумать за писательским столом, а можно встретить только в живой жизни.

— С потолка капал пот. Как дождь! — морща в улыбке кожу у глаз, весь так и светясь мягким юмором, рассказывал в Эртелевке Паустовский. — Не хватало только зонтиков...

Так же смешно, в острых выражениях, но совсем не обидно для актеров, изобразил он их игру — как они путали слова от волнения, что в зале сидит автор. Он шутил, острословил, складки его лица раздвигала сдержанная улыбка. Не помню случая, когда бы в ком-либо еще так наглядно было видно, что главное чувство, которое наполняет, главная черта характера, натуры — это доброта, снисхождение к людям, их несовершенствам, благодарность за их попытку делать хорошее — как они это могут и умеют...

Между прочим, его пьеса, что была разыграна никольскими драмкружковцами, своим рождением была обязана тоже его доброте.

В первую послевоенную осень вместе с писателем Фраерманом Паустовский жил в своей любимой Солотче, на Рязанщине. Погода стояла прескверная —

дождь, грязь. Дороги раскисли, никакого движения — ни на машинах, ни на лошадях. И вот в один из дней, когда дождь лил особенно нудно, из Москвы с поручением к Паустовскому приехала молодая женщина. Она служила в учреждении, ведавшем художественной самодеятельностью. Начальство этого учреждения осенила блестящая идея. Репертуар беден, драмкружкам нечего ставить. Нельзя больше терпеть такое положение. Пусть все советские писатели срочно напишут по одной пьесе. Сколько получится пьес! У кружков сразу будет широкий выбор: на все темы, ко всем праздникам и памятным датам. Молодой женщине выпало ехать к Паустовскому. В Солотчу ей пришлось идти пешком, по жуткой грязи. Она вымокла до нитки, пока добралась.

Ей дали вина, чтобы согреться, хозяйка дома переодела ее во все сухое, уложила на жаркую печь.

Желание руководителей самодеятельности видеть Паустовского в числе своих драматургов его совсем не обрадовало. Но нелегкое путешествие, что ради этого совершила послушная сотрудница, ее бронхит и насморк, которые она схватила, — тронули Паустовского. И за пару дней, пока женщина с помощью сердобольной хозяйки, горячего молока и жарко натопленной лежанки лечила простуду, он, отложив в сторону свою работу, написал пьесу в одном акте. Благо, сюжет не надо было искать, — будни Солотчи, при всей их внешней простоте и незамысловатости, давали сколько угодно сюжетов...

## 13

Долго я собирался с духом, но все-таки собрался: попросил Паустовского прочитать мой рассказ.

Сейчас я вполне понимаю, как он был плох. Даже год спустя я бы уже не полез к Паустовскому с таким рассказом. Но тогда мне было не до самокритики: альманах только что вышел из типографии, страницы еще пахли краской, слова, что я писал водянистыми чернилами на шершавой газетной бумаге, чернели ровно и четко, набранные тем самым шрифтом, каким типография незадолго до этого напечатала «Героя нашего времени» и «Хаджи-Мурата»; еще больше радовали

меня глазастые литеры, которые составляли мою фамилию, повторенную в оглавлении. Это был мой первый такой большой рассказ, по сути дела — его даже было можно назвать повестью: целых пятьдесят страниц...

Не так много, но я уже бывал в столичных редакциях и успел познакомиться с тем, как неохотно профессиональные писатели соглашаются заглянуть в книги и рукописи начинающих. Гораздо чаще следует вежливый отказ со ссылками на занятость, на предстоящий отъезд, на срочную работу, нездоровье.

Паустовский согласился при первых же моих заикающихся словах, взял книжку воронежского альманаха, унес в свою комнату.

Я приготовился ждать долго.

Но уже на другой день он сказал, что прочитал и можно поговорить.

Мы сели в столовой за широкий обеденный стол, покрытый всегда прохладной клеенкой, какая бы жара ни стояла за окнами зала.

Паустовский раскрыл сборник, пригладил топорщившиеся листы ладонями. Руки его остались лежать на раскрытой книге, как бы обнимая ее. Его прикосновения к ней были мягки, любовно-ласкательны. Не потому, что она уж так ему нравилась, — просто это была книга, то высокое, чему Паустовский служил вот уже сорок лет своей жизни.

Мускулистые, загорелые, широкие у локтей руки его в бугорках вен, совсем близко лежавшие передо мною и всякий раз наводившие на мысль о труде каменотеса, землекопа, плотника, помню, вызвали у меня чувство, всегда повторявшееся впоследствии, при других встречах с Паустовским, — что пишет он хорошо еще и потому, что у него вот такие руки — истинного труженика, работника. Такие руки не могут делать работу плохо, небрежно, некрепко, неосновательно, как-нибудь, все, за что они берутся, они исполняют только добротнo, на совесть.

Первый вопрос Паустовского меня удивил:

— У вас своя фамилия или псевдоним?

Никто прежде об этом у меня не спрашивал, никого это не интересовало.

А Паустовский спрашивал не беспричинно, вовсе

не пустой, не праздный был этот вопрос. Он начинал печататься, входил в литературную среду, когда псевдонимы были знаменем времени, когда казались скучны, по-будничному приземлены и потому неприемлемы обыкновенные людские имена и фамилии. Клокочущий в строфах поэм, на страницах новаторской прозы революционный пафос, зовущий в необыкновенность, отторгал от себя обычное, будничное, требовал необыкновенности и в авторах, в их биографиях, именах, — чтобы они звались Багрицкий, Бепощадный, Грядущий, Голодный, Бедный, Безыменский... Для русского парня волжанина Андрея Кочкурова была сера, невыразительна собственная фамилия (кстати сказать, звучная, редкая, запоминающаяся с первого раза), — в литературе он жил как Артем Веселый. Сучанский шахтер Саша Булыга, написав свою первую повесть, не поставил под ней свое имя, подписался — Фадеев, видя в этом псевдониме волевою силу, крепость, созвучие эпохе, ее поступи, тому, что ощущал в себе сам молодой автор, что составляло его внутренний дух и дух его книг. Конармеец Голиков, став писателем, назвал себя Гайдаром, вспомнив, что так на языке степняков-кочевников зовется разведчик, дозорный, бесстрашный всадник, скачущий впереди всех... Литературный псевдоним для писателей одного с Паустовским поколения составлял частичку творчества, вырастал из биографий, зачастую служил ключом к пониманию личности автора, был его боевым девизом и, естественно, не мог не интересовать и не быть важным для Паустовского, которому в писательской деятельности было одинаково важно и интересно все — все ее моменты, все детали, подробности, даже мелочи техники — кто как пишет: карандашом или чернилами, на отдельных листках или в общей тетради...

Услышав мой ответ, Паустовский не сказал, как он считает лучше: то, что у меня своя фамилия, или если бы я избрал псевдоним. Он только кивнул в знак того, что вопрос для него выяснился, и, обратившись к моему рассказу, заговорил о его качествах.

— Рассказ вам испортил редактор, — сказал Паустовский.

Редактор действительно помучил меня и мое творение. Рассказ был о мальчишке, который наврал о се-

бе в документах, прибавил год и «пробрался» на фронт. Он попал к зенитчикам, солдатам уже с опытом; это был народ простой, бывалый, грубоватый, с крепким смачным языком (именно так говорили мои друзья-однополчане летом сорок третьего года на передовых под Белгородом и Харьковом), — и редактор «чистил» этот язык, ибо считал, что, воспроизводя его, я «приземляю», «огрубляю» и «оглупляю» наших бойцов и командиров. Мне казалось, что я совершенно ясно изобразил, какой порыв повлек мальчишку на фронт, туда, где идет борьба с фашизмом; редактор же считал, что это лишь мальчишество, и вписывал в мой текст такие фразы: «...его привела на фронт настоящая самоотверженная любовь к своему отечеству, готовность пожертвовать ради его свободы своей жизнью». Мы спорили, я говорил, что эта декларация не нужна, она чужеродна в тексте.

— Писать надо дерзко, — сказал Паустовский. — Не думать о канонах, традициях, правилах. Только так приходит в искусство новое...

Он заговорил о том, что когда пишешь, надо ни на кого и ни на что не оглядываться. Ну, что ж, что Пушкин писал не так, Толстой писал не так... Их надо любить, знать, ценить, но писать надо свое и по-своему.

Затем Паустовский заговорил о боязни печального, прагматических сторон жизни, которых все равно не избежать, как бы на них ни закрывали глаза, о розовых благополучных концах и сказал, что по логике событий рассказ у меня должен был кончиться печально — смертью главного героя, мальчишки, раненного в первом же бою, но мне или навязали другой конец, или же я сам испугался, подчинился шаблону, неверному представлению об «оптимизме»: рассказ завершается выражением надежды, что мальчишка выживет, поправится и снова будет воевать.

Паустовский угадал: я вправду хотел закончить рассказ смертью: именно так случилось с худеньким белобрысым пареньком, который лежал рядом со мной на соломе в колхозном сарае, занятом под медсанбат (сарай редактор переправил на зерносклад, — так ему казалось приличней); это было в селе, которое звалось Старый Мерчик, в начале сентября сорок третьего, после освобождения Харькова...



Сюжет, персонажи рассказа Паустовский не стал разбирать подробно. Впоследствии я узнал, что так он поступал почти всегда в беседах с литературной молодежью, это был его метод: больше говорить об общих законах прозы, творчества, в тонком психологическом расчете, что автор, если он не глуп, соотнесет все это с собою и сам поймет, как оценить свой рассказ — что у него получилось, что — нет, где — жизнь, правда, а где — фальшь, литературности, бессознательные заимствования. А главное, увидит, как писать дальше, не повторяя сделанных ошибок.

Но, слушая Паустовского в зале эртелевского дома, я еще не знал этого, и, каюсь, у меня мелькнуло подозрение, что немногословие в отношении моего рассказа оттого, что Паустовский прочитал его бегло.

Перелистав страницы у себя в комнате, я, однако, убедился, что Паустовский читал внимательно, даже пристрастно, с карандашом в руке, ставил на полях плюсы и минусы против тех мест, которые полагал нужным отметить. Минусов было порядочно, но стояли и плюсы. Один, например, возле абзаца, в котором описывалась горящая сосновая роща, подожженная разрывами артснарядов, то, как языки пламени, сорванные ветром с верхних ветвей, пролетают над дорогой, а по ней, наддав моторам предельные обороты, несутся бронетранспортеры, и был такой штришок, не придуманный за столом, когда я писал, а взятый из того, что привезла моя память с фронта: пожар уже перебрался через дорогу, и там, «...одеваясь желтым, как дымящийся пух, дымом, горела высушенная летним зноем трава...»

...Бумага под обложкою альманаха сейчас желта от времени, почти как тот дым горячей стерни и травы, что знойным летом сорок третьего года выедал на Харьковщине солдатам переднего края глаза, типографская краска поблекла. Но они и сейчас еще видны на полях, эти деликатные карандашные пометки Паустовского...

## 14

Я начал с того, как группа воронежцев приезжала в Эртелевку ради знакомства с Паустовским.

На обратном пути вышло так, что на Графской на-

до было долго ждать поезда, — чуть ли не до полуночи.

Неуютны были вокзалы послевоенной поры! Пустые, воняющие дезинфекцией залы ожидания, стены со следами потеков сырости, затоптанные полы, мутно-желтый, наводящий уныние свет слабосильных электрических лампочек, бездействующие буфетные стойки, а взамен всего, чем когда-то встречали они пассажиров, взамен лимонада, морса, пива, — лишь питьевые бачки из оцинкованного железа у входных дверей, с тяжелыми, кустарной выделки кружками на толстых лодочных цепях...

Кто-то вспомнил, что здесь, на Графской, квартирует Кораблинов.

Поселок тонул в липкой тьме. За заборами остервенело лаяли псы, не какие-нибудь Тузики, Шарик с хвостами колечком, все подряд — здоровенное зверье: утробный хрип, отрывистые басы; озноб пробегал от мысли, что какой-нибудь из этих сторожей сорвется с привязи.

Никто толком не знал, куда идти, во мраке было не разглядеть даже пальцев, растопыренных перед носом, но все-таки каким-то непостижимым образом мы отыскивали нужный дом.

Поселок жил без электричества. А в комнатухе Кораблинова не было даже керосиновой лампы: мерцал каганец. Набились плотно, теснота получилась совсем трамвайная. Кому удалось — сели на что только было можно, половина осталась на ногах.

На столе в соседстве со светильником белели исписанные листки. Строчки были короткие, стихотворные. Писалась поэма. Вот здесь, у каганца, поздними вечерами, ночью, после трудного рабочего дня, начинавшегося еще затемно, ежедневных трех часов в переполненном поезде (в город и обратно), после того, как поужинает семья, улягутся дети и освободится краешек колченогого кухонного столика. Позади были годы эвакуационных скитаний, скудных пайков, неустроенности, тягостных забот о самом насущном, когда все, чем прежде всего хотели жить мысль и сердце, должно было отойти прочь, в сторону, забыться за ненужностью, полной неприменимостью в том существовании, которое диктовала война. Вернуться на ро-



юность, те памятные впечатления, что превратили его в поэта, художника. Художником поначалу он и собирался стать, учился рисованию в студии Бучкури. Только что завершилась гражданская война, большинство будущих художников сидели за мольбертами в полинялых, штопанных фронтовых гимнастерках, красноармейских шинелях. Путь Кораблинова раздвоился — его увлекла еще и поэзия. Стихи его печатал в «Лефе» Маяковский. Сейчас живет ему трудно, работает он ретушером в одной из воронежских редакций. У него большая семья: трое детей, старая мать, приходится делать много дополнительной рисовальной работы.

Паустовский слушал со вниманием. Я понял, что он прочитал поэму и она не оставила его равнодушным. Конечно же, он должен был ее прочитать, не мог он пробросить эти страницы: ведь на них было то, что так любил он сам — тихие лесные речушки, озера, глухие лесные дебри, их таинственные обитатели — бобры и лоси, не похожий на всех прочих людей лесной народ — бородатые многомудрые лесники, егеря, охотники...

Без очков, щурясь, близко поднеся к лицу печатные страницы, Паустовский, как бы затем, чтобы лучше закрепить в памяти, еще раз пробежал глазами колонки стихотворных строк.

— Да... — произнес он с раздумьем. — Хороший человек...

Нельзя было не почувствовать, что это ему важнее строк — чем они рождены, что за человек за ними, с какими побуждениями, с какой устремленностью, — слишком научилась холодная расчетливость оперировать словами, имитировать душевный жар... И он рад, что перед ним не подделка, не притворство, что писавшей руке можно верить, что еще одним близким, хотя и неизвестным человеком у него в мире стало больше...

Было бы, наверное, интересно порассуждать о проблемах, которые затрагивал Паустовский в своих высказываниях и беседах, но мне не хочется попружаться в

рассуждения, более подходящие литературоведам, тем более, что жизнь давно уже во многое сама внесла ясность и сняла, как надуманные и искусственные многие проблемы. Я просто расскажу о том, как старая липа эртелевской усадьбы помогла мне почувствовать правоту того, что нес в своем писательстве Паустовский, живой, творящий, оставляющий добрый след характер его искусства.

Липа стояла в конце главной аллеи, насквозь рассекавшей запущенный, одичавший без ухода парк, на дальних своих концах превратившийся в непролазные чащобы. Липа была высоченная, развесистая, с могучей кроной, плотной листвой, которую не в силах было пробить даже полуденное солнце, и такая толстая у земли, что ее и вчетвером было не обхватить.

Липу эту видели все, кто бывал в Эртелевке. Видели — и проходили мимо, ничего в этом дереве особенного не замечая, ни на чем не останавливая своего глаза и внимания.

Но вот с этой липой встретился Паустовский, художник истинный, чуткий, открытый всем впечатлениям, всем краскам и звукам, его окружающим, писатель с воображением, фантазией, готовыми прийти в движение от малейшего толчка извне, жадно ждущий этих толчков, с обостренным вниманием встречающий каждую мелочь, ибо ведь все, решительно все, каждый лист и каждый сучок, каждая божья коровка, ползущая по травинке, — это немая повесть, и надо только ее почувствовать, угадать. Он не прошел равнодушно-непотребованно мимо старой липы, не отделив ее от остальных деревьев парка, она предстала ему не просто деревом, бездушным и безгласным, а свидетелем, очевидцем долгой жизни, протекшей у ее подножия, хранительницей здешней истории. Взгляд его заметил то, что, хотя и видели, но не замечали другие: что ствол липы на высоту трех сажен от земли совершенно прям и гладок, чего обычно не бывает у деревьев, а на коре — слабо проступающие овальные круги, следы от нижних ветвей, спиленных когда-то очень давно, лет, вероятно, сто назад. В парке были другие такие же старые деревья, ровесники этой липы, но только ее по какой-то причине старательно и

намеренно обпилили со всех сторон пилой. Почему, зачем? В этом была необычность, загадка, которую хотелось разгадать, овалы на коре были письменами, которые просили о прочтении.

Не сразу, но свет все же пролился: отыскиались старики, еще хранившие в памяти нечто смутное — то ли было, то ли легенду о том, что, действительно, лет, должно быть, сто назад, при крепостном праве, когда усадьбой владел помещик, имя которого забылось, — на липе этой повесилась девушка. Тут у стариков выходил разлад. Одни утверждали, что девушка была дочерью помещика и причиною была любовь. Другие не менее горячо доказывали, что это была не дочь, а крепостная, с которой помещик жестоко обошелся. Торчащий поперек аллеи сук, на котором нашли висевшее тело, воспринимался как немой укор, и владелец усадьбы приказал срезать все суки, чтобы вид их не беспокоил его память и совесть...

Неважно, что предание было противоречивым, смутным, лишенным конкретности: толчок был дан, «кокон художественного воображения» стал ткать нить будущего рассказа; нарисовались конкретные черты, задвигались фигуры, появились лица, появилась девушка, обретшая имя Аннушки, ассоциативные связи соединили ее с поэтом Никитиным, который мог бы вать, а может, и действительно бывал по своим делам в этих местах, недалеких от Воронежа, где он держал постоянный двор для мужиков, приезжавших на базар, и, конечно же, вынужденный соблюдать выгоду, ездил по окрестным помещикам покупать для своего двора овес и сено.

В сочинениях, оставленных Паустовским, в его «Книге о жизни» мы можем сейчас прочесть такое признание: «В жизни мне пришлось много действовать. Действие соединялось с жадной наблюдений, разглядыванием жизни вблизи, как сквозь лупу, и стремлением придавать жизни (в своем воображении) гораздо больше поэтичности, чем это было на деле. От этого она наполнялась в моих глазах добавочной прелестью. Даже если бы я очень захотел, то не мог бы уничтожить в себе это свойство, ставшее, как я понял потом, одной из основ писательской работы».

Может ли быть отрицательной оценка такого обра-

щения писателя с материалом жизни, таких свойств писательской личности, такого творческого метода и его результатов?

«Трудно уметь смотреть далеко, но самое высокое искусство — это уметь видеть рядом и оживлять для человека обыденное, как изумительное и прекрасное, как способное питать душу», — написал Шкловский в статье к 75-летию со дня рождения Паустовского.

Какой-нибудь другой литератор, скучный приверженец протокольной точности, конечно, не поместил бы Никитина в историю местной Аннушки, не стал бы выдумывать такого факта, ибо его нет в документальной биографии, в своем сухом бесплодном педантизме не рискнул бы, счел недопустимым, непозволительным впадать в «несоответствие» с действительностью. Он и Аннушки бы не придумал. Дерево с ним не заговорило, осталось бы таким же немым, повесть, написанная на коре, — непрочитанной и ничего не последовало бы от этой его встречи со старой липой, ничего не приобрела литература, ничего, никакой самой малой малости не прибавилось бы в мире, тем местам на которые были обращены его глаза.

Прошел Паустовский, прикоснулся волшебной палочкой своего дара, — и мертвое ожило, немое поведало свою повесть, родился рассказ, он перешел жить в местный фольклор, обогатил его; благодаря этому рассказу, благодаря мысли и воображению Паустовского поэтичнее, богаче, наполненной смыслом стал уголок русской земли, забытое, почти уже совсем утраченное избежало смерти, поднялось из забвения, в некоем преображении, но все же соединилось с текущим временем, оттенив его дополнительными и нелишними красками, дав дополнительное содержание тому, что в этом уголке земли видит глаз.

То, что творит слово художника, начинает жить такой же жизнью, как и реальное, то и другое существуют рядом или одно в другом с одинаковой силой убедительности и на тех же правах. Даже когда знаешь, что это создано на писательской «кухне» и знаешь пределы достоверного и вымышленного, воображенного.

Вот для меня не секрет, из чего, как родилась Аннушка, какая зыбкая легенда была ее колыбелью, не

секрет, что все это — в общем, мираж, воображение Паустовского, а все же без картин и образов, нарисованных им в «Воронежских рассказах», уже не представить Эртелевки. И отними, уничтожь Аннушку, ее судьбу, Ивана Саввича Никитина, высокого и худого, с большим покатым лбом, заворачивающего на дрожках с большака к усадебному дому, — и насколько бедней, опустошенной станет этот край: старая, бог весть когда возникшая усадьба, после многих продаж и переходов из рук в руки доставшаяся в конце концов Эртелям, окружающие ее поля, прихотливо петляющие в них дороги, отороченные летом охалками белых ромашек, соседние деревни и деревеньки...

## 16

Последняя наша рыбалка была на Усманке, возле железнодорожного моста. Не подсчитать, сколько раз кормили мы тут своей кровью неотвязных комаров, мокли под дождем, пеклись на солнце. Сколько наших крючков осталось в черной речной глубине, зацепленных за коряги и стебли подводных растений.

Однажды из Эртелевки к нам на берег припозжаловала детская писательница, имеющая привычку дотошно во все вникать и всем подряд интересоваться. Никто ее сюда не звал, просто, дожив до седин, она пожелала, наконец, выяснить, что же это такое — рыбная ловля.

Вид ее выражал совершенный ею подвиг: расстояние, которое она прошла через поля до Усманки, представлялось ей, привыкшей к городскому асфальту, почти героическим путешествием. Тем более, что на пути ей встретилось коровье стадо во главе с быком и, по мнению писательницы, ею была пережита нешуточная опасность.

Конечно, рыбалка полетела ко всем чертям.

Писательница тараторила без умолку, допытывалась у Паустовского — почему рыба подплывает к наживке, ведь вода мутная, как он видит, что рыба уже на крючке и надо вынимать. По дороге, кроме стада, писательница встретила работающий в поле комбайн и с восторгом делилась, что наконец-то собственными глазами увидела эту умную машину, про которую



раньше только читала в газетах; она ведь, машина эта, и пашет, и сеет, и хлеб убирает... Еще писательница видела идущий по аннинской ветке рабочий поезд и хотела теперь выяснить непонятную ей техническую подробность: как машинист управляет паровозом, когда рельсы заворачивают в сторону? У него, вероятно, есть руль, как у шофера?

Паустовский кротко объяснял — и почему рыба находит наживку в мутной воде, и как он узнает, когда надо дергать леску, и про комбайн, и про паровоз — что паровоз не автомобиль и руля на нем нет. Но когда любознательная писательница, оставив на речном берегу конфетные бумажки, довольная вниманием Паустовского и тем, что теперь она располагает нужными знаниями, которые употребит при написании очередной детской книжки, наконец удалилась, чтобы по пути в Эртелевку совершить еще ряд ценных для себя открытий и расширить свой умственный кругозор, — Паустовский дал волю ярости.

— Какова?! — едва сдерживая рвавшиеся на язык крепкие слова, ворчливо говорил он, перебрасывая удочки и от гнева со свистом рассекая лесками воздух. — Точно в реторте родилась и выросла! И ведь сколько возле писательского дела таких. В разных званиях, должностях... Заседают в издательских советах, каких-то комиссиях, судят, рьят, выносят приговоры рукописям...

В этот последний наш день никто нам не мешал.

В убранных полях было по-осеннему пустынно, безлюдно. Сухо блестела стерня под солнцем, летали серебряные паутинки, липли на лицо. Кружась, опускались в черное зеркало Усманки с прибрежных деревьев первые желтые листья. За весь день всего лишь раз прогремел через мост товарный поезд со стороны Графской, да, стуча по шпалам сапогами, прошел путевой обходчик в брезентовой куртке, с киркой и ломом на плече.

Когда мне хочется вспомнить преддверие осени, ее неприметный, вкрадчивый приход, ту прозрачную ясность, что наполняет воздух, приближая дали, тот особый, светлый, вдруг наступающий в природе покой, от которого свежее голова и с человеком делается что-то очень для него важное: вместе с грустью, с чувством

каких-то утрат к нему приходит ощущение и какого-то нового, предстоящего ему бытия, нового этапа жизни, — я всегда вспоминаю эти вот эртелевские дни, поля в сухой стерне, как они блестели, тихие черные воды Усманки, ломкий, пересохший, трескучий камыш у берегов...

Камыш сухо, бумажно шуршал, когда Паустовский осторожно двигался в нем, проверяя или забрасывая удочки. Весь день он был мне не виден, скрытый янтарно-белесыми стеблями, я только слышал, как он покашливает, как звякает в его руках консервная банка, когда он достает нового червяка, как тарахтит он спичками в коробочке. Он закуривал, синеватый дым широким кольцом всплывал из камыша в теплом неподвижном воздухе над тем местом, где он сидел, и, не рассеиваясь, чуть отдалившись в сторону, повисал над гладью речного плеса.

В конце его, в той стороне, где Усманка, покидая темную чащу заповедного леса, через отверстие в дряхлой плотине вытекала в полевой простор, сразу перенимая у неба его живой свет, как чешуей, покрываясь солнечным блеском, играющими бликами, возвышался маленький островок, шагов десять в поперечнике. Возле него всегда охотно клевали окуни и плотва, и ближе к вечеру, когда вокруг уже стало меркнуть, мы перешли на этот островок. Улов у нас был бедный, просто стыдно было нести с собою то, что болталось на наших куканах; близость осени сказывалась, рыбе, как видно, уже пришел срок уходить на покой в глубину, в коряжистые ямы с вечной тьмой.

Но с островка ловля пошла. Паустовский выдернул одного за другим несколько окуньков, каждый раз — под радостный визг и бурное метание Пальмы.

Рогатки, на которые я клал удочки, стояли на границе суши и воды, и я вдруг заметил, что вода в реке медленно, но неуклонно прибывает, наступая на островок и сокращая его размеры. Почти одновременно заметил это и Паустовский. Ни он, ни я не могли понять, что случилось, откуда эта прибывающая вода. Дождей не было давно. Может быть, где-то наверху прорвало плотину, построенную бобрами? Все непонятное, таинственное пугает. Было что-то жутковатое в том, как быстро поднималась река. Вот только что в

очередной раз переставленная рогатка стояла у края воды, а вот и четверти часа не прошло — она уже на полшага от береговой полосы...

Чтобы выбраться с островка, надо было сделать прыжок через протоку, нетрудный даже для Паустовского. Но гораздо интересней было оставаться на островке и думать, что спастись с него не так-то легко, что мы в опасности, и гадать, откуда же, почему вдруг стала подниматься вода, и как высоко она еще поднимется и что будет с нами...

Мы оба, не сговариваясь, поняв друг друга, включились в эту игру. Чтобы пережить радость охоты — не обязательно нужна крупная дичь, крупная рыба. Чтобы пережить событие, имеющему воображение писателя совсем не нужны полные его масштабы. Океан можно увидеть и в дождевой луже, в сломанном репейнике Толстой прочитал судьбу Хаджи Мурата...

Островок был выпуклым в середине, и мы постепенно отступали на его возвышенную часть.

А окуни все шли... Растекающиеся, как дым, сумерки смешали деревья и кустарник в одну темную массу, над плесом в лиловом, с бирюзою, небе зажглась желтая звезда, такая же точно вспыхнула под нею, в речной воде, и теплой искоркой стала мигать возле наших поплавок.

Наконец заскулила, застонала Пальма. Наступающая из темноты вода путала и ее, она больше не могла оставаться на острове, скулила и вертелась, с недоумением взглядывая на нас: неужели мы не понимаем опасности, не видим, что от островка скоро не останется и его лысой, песчаной макушки?

Совсем уже в темноте, плохо различая, что у нас под ногами, со смотанными удочками и полными куканами окуньков мы перебрались с островка на твердый берег.

Приходилось ли вам замечать, как с наступлением сумерек, на переломе дня и ночи пробуждаются многие, дотоле дремавшие цветы и травы, распрямляют стебли и листья, раскрывают бутоны и начинают источать в мир свои запахи, которых нет, которые не уловить при свете дня?

Пряный, горьковатый, очень явственный аромат

плыл нам в лица из сгустков тьмы, из травяных и кустарниковых зарослей, покрывавших горб старой плотины, берега узкой протоки, в которой не сонно и едва слышно, как всегда, а бурно, напористо хлопотала, переливаясь, обретшая силу вода. Прежде здесь никогда так не пахло, даже в такие сумеречные часы; видно, нам повезло уловить тайный и редкий момент пробуждения какой-то неизвестной жизни.

Я спросил у Паустовского — что это пахнет?

Он приостановился, потянул в себя воздух.

— Аир, — сказал он. — Его еще зовут татарским сабельником...

Татары, Русь, семнадцатый век — все сразу пришло с этими словами...

Мы долго выбирались из зарослей, никак не могли нащупать верную тропинку, и все время, пока выбирались, вокруг нас невидимо клубились дурманно-пряные волны.

Усманка как бы провожала нас, оставляя нам по себе память, провожала пахучим аиром, которым когда-то были сплошь покрыты ее берега, древним своим запахом, что первым из всех лесных и болотных ударял в ноздри взгоряченных татарских коней, когда татары, воровски подкравшись из степи, наверное, где-то вот тут же, где пробирались мы с Паустовским в прибрежных кустах, под покровом ночной мглы искали на московскую сторону «перелазы» через топкое, болотистое, коварное русло...

## 17

Спустя два или три дня Паустовский уехал в Москву.

Он засобирался внезапно. Говорил, что еще поживет в Эртелевке, посмотрит осень, и вдруг какое-то внутреннее беспокойство погнало его, — он объявил, что уезжает.

Уложил чемодан, старомодным утюгом на углях очень ловко погладил на веранде свои светло-серые костюмные брюки, давно уже утратившие складку, измятые на рыбалках, обзеленные о траву спереди и сзади.

Повез его на станцию сам Иван Андреич. На теле-

гу, набитую сеном, Паустовский устроил чемодан, попрощался, сел, свесив ноги. С другой стороны сел тучный, тяжелый Иван Андреич, разобрал вожжи, чмокнул на Муху, как чмокал, должно быть, когда еще ездил с Эртелем, и повозка, вихляя колесами, поехала с усадьбы — под уклон к Каменке, через мостик, на горку, за Лаптевку...

## 18

До сих пор мне жаль, что самой красоты эртелевского парка Паустовский не увидел.

Дни стояли сухие. Блистало низкое солнце. Зацепившись за ветки, висели паутинки, совершенно отвесно, не шевелясь — так тихи, безветренны были дни. Парк изо дня в день медленно желтел, красился в пурпур; в багрянец. Клены стали ослепительно оранжевыми. Их листва, тяжело, плотно, непроницаемо нависавшая, когда была зеленой, истончилась, приобрела воздушность, легкость, почти прозрачность. Издали парк горел, как гигантское кострище, бездымно, беззвучно, казался грудой раскаленных углей.

Дни шли, мелкая листва облетала, а клены все царственно стояли, нестерпимо оранжевые на густой, глубокой сини осеннего неба, и ни один их лист не падал.

Уже впору было поверить, что законы природы сдались в своей непреложности, отступили перед великолепием старых могучих кленов, не решаясь разрушать их красоту, только вот сейчас в полной мере явившуюся, и так, в таком своем уборе они будут выситься и пламенеть дальше, даже когда повалит снег и прижмет к земле небо...

Но в одну из особенно прозрачных, сиренево-дымчатых лунных ночей ударил звонкий морозец. Утром опять ослепительно блистало солнце, яркой, густой была синь неба. Но листва была уже подрублена и тронулась с дерев. Весь день листья словно бы нехотя, иные — кружась, иные — планируя по спирали, черенками вперед, иные — подолгу порхая среди сучьев, с мягким покорным шелестом ложились на пожухлую траву куртин, устилали аллеи.

К вечеру парк стоял уже пустой, видный насквозь.

Иван Андреич, в картузе, сапогах, уже по-зимнему в ватнике, с каким-то хозяйственным делом шел по аллее, взгребая ногами сухую листву, и гремучее шуршание от его шагов было отчетливо слышно в доме и, должно быть, даже в самой Лаптевке...

## 19

Не знаю, с какими мыслями, с какими ожиданиями Паустовский уезжал из Эртелевки.

Тряская тележная дорога на Графскую была не так уж длинна, но всегда казалась долгой, тянучей. Разъезженные колеи, кочковатый луг за Малой Приваловкой с реденьким стадом пасущихся коров, бревенчатый мосток через Усманку; прежде чем переехать, его надо было проверять ногами — такой он был хлипкий, ненадежный... Потом — километра четыре сквозь сосновый лес по узловатым корневищам, по пыльному сыпучему песку, перемешанному с раздавленными шишками и рыжими хвоями...

Но вот это уж точно: ни в каком предчувствии не было у Паустовского, что за подарок ожидает его в Москве...

А в Москве его ожидало письмо Бунина, присланное из Франции:

«Дорогой брат! Я прочел Ваш рассказ «Корчма на Брагинке» и хочу вам сказать о той редкой радости, которую испытал я... Он принадлежит к наилучшим рассказам русской литературы».

«С юных лет, — оставил Паустовский признание в одной из последних своих книг, — я любил Бунина за его беспощадную точность и печаль, за его любовь к России и удивительное знание народа, за его мудрое восхищение миром со всей его разнообразной красотой... Уже в то время Бунин был для меня классиком».

## 20

Паустовского я увидел только через четыре года, в Ростове-на-Дону, на конференции писателей юга.

Календарь терял последние листки октября. Обычно в такую пору уже властвует ненастье, но осень в

Приазовье выдалась отменная: солнечная, теплая — совсем, как та, эртелевская.

Четыре года, казалось, не прибавились к возрасту Паустовского, и не чувствовалось, что ему под шестьдесят. Движения его были легки, в теле — совсем спортивная сухость, никакой дряблости, ничего старческого, крепкий загар покрывал его лицо, выпуклый костистый лоб, крупные кисти рук. Выглядел он элегантно: приехал из Москвы в тонком, не нашего покроя и шитья пальто, в зеленой шляпе с укороченными полями.

Мы поговорили об Эртелевке, я рассказал, что на Каменке, между усадьбой и Лаптевкой, строится плотина, создается огромный пруд.

— Да неужели? — с какой-то милой детскостью обрадовался Паустовский.

Пятьдесят первый год был самым разгаром деятельности по преобразованию природы, чтобы избавить сельское хозяйство от засух и неурожаев. Специально созданные лесозащитные станции, оснащенные солидной техникой, закладывали на колхозных полях лесные посадки, строили водоемы, оросительные каналы; на Дону в районе Цимлянской завершалось сооружение гигантской плотины, превращавшей сотни квадратных километров донской поймы в грандиозный водный бассейн.

Полезность мероприятий, что намечал общесоюзный план, была несомненна, доказана опытом и наукой, в плане выразились мечты и желания сельского населения засушливых районов, работы развернулись высокими темпами, с редким энтузиазмом. Но это имело и обратную сторону: как нередко бывает при излишней поспешности — немало трудовых усилий пропадало даром, было истрачено впустую. К примеру сказать, из Лаптевского пруда, как и из очень многих прудов, что сооружались тогда на колхозных землях, ничего не вышло. Мощными бульдозерами, скреперами были передвинуты огромные массы грунта, но сказались неосновательность замысла, отсутствие серьезного расчета. Плотину поставили без прочного замка — без крепкого, долговечного, водонепроницаемого основания, не утрамбовали, как надо, водосброс для спуска талой весенней воды оставили незацементиров-

ванным. Из Никольского приходил продавец сельпо, самоучка-изобретатель, смотрел, как впрызаются в берега ножи мощных С-80, как двигают они на плотину бугры глины высотой в крестьянский дом, и вместо восторга от техники и размаха строительства только сокрушенно, жалеючи труд и затраты, качал головой:

— Вы бы хоть у старых людей поучились... Как они делали. Вон в Никольском сто лет плотина стоит. И пруд всегда чистый, не мелеет. А почему? Водосток под плотиной, у дна. Откроют его по весне — и лишняя вода сходит, а зараз со дна всю муть уносит, пруд очищает. А у вас, во-первых, такой водослив враз размочит, а второе — какой с него толк, он же для одной верховой воды. Допустим, даже плотина устоит, — два, три года, ну, пять от силы — и займется пруд полностью, не станет его...

Хромой сельповский продавец оказался умнее торопливых техников и инженеров. Вышло так, как он предсказывал: в первую же весну полая вода размывала неукрепленный водосток, утащила с собою тысячи кубов грунта. Пруд весь ушел, Каменка ниже его полностью пропала, погребенная под наносами, и теперь там, где «боролись с природой», только печальный памятник неумелым «борцам»: высоченная, ни на что не годная насыпь и разрезающий ее глубочайший овраг; подойдешь к краю, заглянешь — голова закружится...

Паустовский вспомнил про Усманку, про последнюю нашу рыбалку у моста, — не забыл! — когда в сумерках подступающей ночи таинственно и страшно по неизвестной причине поднималась в реке вода, затопливая наш крохотный островок и, так же неизвестно почему, добавляя таинственности, как никогда дружно, один за другим шли на крючки молодые окуни.

Путь на Усманку помнился ему так отчетливо, будто только вчера ходил он к ней в последний раз — тропинкой через клеверное поле, мимо обгорелого стога, вдоль железнодорожной насыпи...

— А помните, — спросил он, — когда поле подняли под зябь и запахали тропинку, как приходилось нам переть по шпалам?



Он так и сказал — «переть», с мальчишеским блеском в глазах, как бы заново переживая удовольствие прошлых путешествий.

Я умышленно подчеркиваю эту маленькую языковую деталь. Некоторые, наверное, представляют, что Паустовский, так много и горячо ратовавший за чистоту литературного языка, в своей разговорной речи был пуристом, держался такого салонно-изысканного стиля. Совсем это не так. Паустовский не гурманствовал в языке, жизнь, скитания позволили ему узнать языковое своеобразие всех слоев народа, разных областей обширной России, ухо слышало и как говорят портовые грузчики в Одессе, и на каком наречии общаются жители северных заонежских деревень, он не чуждался просторечных слов и оборотов и зачастую для выразительности мог употребить что-нибудь такое из одесского или матросского словаря, что иной щепетильный слушатель, полагаящий, что писатель должен разговаривать не иначе, как светские тургеневские дамы девятнадцатого века, внутренне весьма бы поежился...

Из собравшихся в Ростове писателей многие были увлечены развернувшимися в стране работами по реконструкции природных условий, старались внести и свой вклад: одни уже кое-что написали об этом, другие готовились написать. В газете я читал интервью с Паустовским, где говорилось, что он хочет создать книгу, подобную «Кара-Бугазу», в той же стилиевой манере, что для этого он ездил на стройку Волго-Донского канала и книга эта уже почти закончена.

— Да, это так, — подтвердил Паустовский. — Назвал — «Рождение моря». Все лето сидел, — сказал он, отчасти с гордостью за свою усидчивость, писательскую оперативность — за три месяца одиннадцать печатных листов, отчасти — с оттенком некоторого сожаления, что стороною прошло лето, самая пора отдыха, далеких и близких путешествий, рыбалок.

Тут же, по своей любви и одесской привычке ко всякого рода анекдотам, Паустовский рассказал случай, который произошел с ним на Волго-Доне. Ради технической информации пришлось посетить одного начальника.

— Здравствуйте, — сказал Паустовский, войдя в

кабинет. — Я из Москвы, писатель, моя фамилия Паустовский.

— Так. Ну и что? — спросило начальственное лицо, не отрываясь от бумаг.

Паустовский слегка опешил от такого приема.

— Вы разве ничего за моим именем не читали?

— А вы мне ничего и не писали, — веско ответил начальник.

## 21

Конференция собрала редкое множество участников. Шумные встречи давно не видевшихся друзей, суэта размещения в гостиничных номерах, торжественное открытие в переполненном зале. А потом несколько дней — неспешная работа по секциям, обсуждение произведений.

Я был гостем, «обсуждению» не подлежал, мог тратить свое время как угодно, присутствовать на любом семинаре, по выбору.

Поэты, как всегда, темпераментно спорили, не приходя к согласию. Интересно было в любой группе. Хотелось послушать и там, и тут.

Но я решил не скакать, не бегать. Взял блокнот, наполнил автоматическую ручку чернилами и прочно сел в комнате, где занимался семинар Паустовского.

Она выглядела как учебный класс: что-то вроде парт, черная доска на стене, преподавательский столик. Семинарские занятия, если только я правильно помню, происходили в аудиториях Дома политпросвещения.

За окном светило желтое осеннее солнце, янтарные полосы, пересекая класс, лежали на навоощенном паркетном полу.

Группа у Паустовского была небольшой, человек шесть. Молодыми «семинаристов» было не назвать, по возрасту это были уже зрелые люди, от тридцати и выше, успевшие много повидать, с очень своеобразными, даже необычными биографиями. В литературном же деле почти все были молодыми, малоопытными, — не больше, чем с одной книгой, а кое-кто и без книги, с рассказами в журналах или еще только с рукописями.

По богатству жизненной школы первое место принадлежало Андриану Иванникову, дюжему здоровяку, косая сажень в плечах, уже с густым серебром в буйных лохмах волос. Много всего было в его прошлом, но называл он себя по главной своей профессии — черноморским рыбаком. Он приехал с романом «Море», по какой-то непонятной авторской прихоти подписанным вычурным псевдонимом Руммер. Пробовать себя в писательстве он начал еще в тридцатые годы. Горький читал его первые рукописи, отозвался одобрительно, но указал, что культуры и знаний недостаточно, надо учиться. Письмо Горького в переснятом на фотобумагу виде было при Иванникове, в толстом портфеле с поющими замками. Бывший рыбак охотно доставал его и демонстрировал всем, кто хотел взглянуть.

Такой же окольный, сложный путь к писательству был у другой участницы семинара — женщины с очень броской наружностью, склонной в одежде к ярким тонам, ради эффекта превратившей свои волосы в ком рыжего пламени. В нервном возбуждении она часто курила, все какие-то не наши, длинные, тонкие сигареты. При взгляде на нее в воображении возникала Одесса с ее пестротой, яркостью красок, непринужденно-порывистыми, своенравно-свободными характерами одесских жителей; писательница и в самом деле была одесситкой, сотрудницей той самой газеты «Морьяк», в которой когда-то, в начале двадцатых годов, сотрудничал Паустовский.

Дружелюбная улыбка, адресованная всем вокруг, не сходила с крестьянского лица еще одного участника семинара — Алексеева. Простодушный, как дитя, он испытывал откровенное, видимое всем удовольствие от своего присутствия здесь, на конференции, от общения с известными писателями, от своей, пусть пока еще малой, но хотя бы даже такой причастности к делу, перед которым он благоговел. На синем пиджачке Алексеева сверкала Золотая Звезда Героя. В войну он был во фронтовой разведке, выполнял задания самого Толбухина. Однажды, когда долго не было пленных, Толбухин сказал ему: «Алексеев, поймай фрица». Алексеев с разведчиками слазил ночью в немецкие окопы, приволок немца. Оказалось, действительно —

Фриц. «Ну, теперь — Ганса!» — сказал Толбухин. Алексеев привел пятерых. Четверо были румыны, а пятый — немец. И надо же — Ганс!

Два слова о манере Паустовского руководить обсуждением творчества молодых литераторов.

В разное время, участвуя в творческих семинарах, мне пришлось наблюдать в роли руководителей многих писателей, и должен сказать — редко еще у кого бывала такая атмосфера равноправия, коллективной работы, коллективного анализа, как у Паустовского. Большинство руководителей свою главенствующую, учительскую роль вольно или невольно исполняло по-чапаевски: «На все, что вы тут говорите, наплевать и забыть, слушайте, что буду я говорить!»

У Паустовского не было резкого разграничения на учеников и учителей, ничем не подчеркивал он своего преобладающего опыта, знаний. В ходе каждого обсуждения, почти до самого конца, роль его была чисто организационной: короткой информацией об авторе и его произведении Паустовский лишь начинал беседу, а затем как бы отступал в тень, давая рядовым участникам полную свободу высказывать свои впечатления, спорить, искать истину. Каждое мнение имело одинаковое право на то, чтобы быть выслушанным, подразумевалось, что в отыскании истины все равны, все — мастеровые одного цеха, все подданные одной державы — литературы, у каждого, независимо от стажа, опыта, успехов, количества напечатанного, есть чем поделиться с другими, в каждой точке зрения всегда найдется, отыщется такое, что обогатит других, послужит другим в науку. И такая методика оправдывала себя вполне: если не литературными навыками, то жизненными впечатлениями у участников семинара всегда происходил щедрый, ко взаимной пользе обмен.

Паустовский неспроста создавал обстановку для таких разговоров: он не уставал повторять, что писателю нужно знание разнообразных сторон жизни, общение с людьми всевозможных профессий, с людьми, много повидавшими и испытавшими, и когда такие разговоры начинались, он, при всех тех богатствах,

которыми владела его память, тоже зажигался увлечением и слушал жадно, даже с заметной глазу завистью — что это все видел, пережил кто-то другой, а не он сам.

Книги и рукописи, подлежавшие обсуждению, были прочитаны Паустовским заранее. На столе перед ним лежали листки бумаги с набросанными заметками; и в ходе обсуждения Паустовский, без очков, низко склонясь над столом, почти воткнувшись лицом в бумаги, карандашом вычеркивал из своих листков мысли и замечания, сходные с теми, что высказывали выступающие. Часто оказывалось, что участники семинара так или иначе, но коснулись всего, что приготовил для автора Паустовский, и ему оставалось только подвести краткие итоги и высказать автору пожелания на дальнейшее. И вот эти-то заключительные слова сплошь и рядом превращались в пространные монологи, насыщенные бездной всевозможных примеров: о природе и психологии творчества, о писательских приемах, о том, чем нужно обладать писателю, как развить в себе эти качества, каким выразительным может быть слово, если оно удачно найдено и точно употреблено. Можно ли прочесть получасовую лекцию о союзе «и»? А Паустовский, натолкнувшись на что-нибудь в рукописи, мог, — опять же с примерами из разных писателей, цитируя по памяти, так и этак наглядно показывая, какая сила и какая слабость заключены в этом незначительном «и», как может окрепнуть, усилиться фраза, если умело распорядиться с ритмом и музыкой этого звука, и как может фраза ослабеть, размягчиться, а мысль потерять мускулистость, собранность, энергию, если оставить «и» там, где оно не нужно, где не положено ему стоять.

Первый свой большой монолог, местами даже в очень гневном тоне, Паустовский произнес против омеханичивания в литературе человека. Разговор же об этом возник по поводу того, как изображены в одной из книг бойцы и, главным образом, центральный персонаж — комиссар.

— Механизация человека, обеднение его души, психологии — страшная вещь! — так начал Паустовский, от волнения даже слегка астматически задыхаясь. — Такие люди — это не люди, это мертвые схемы, гово-

рящие по готовым тезисам. Существование в литературе механического робота, который к тому же превращен как бы в образец для других писателей, — большая вина тех, кто его создал, и горе для читателей. Нельзя все разнообразие человеческой души, психики, все богатство внутренней жизни сводить к убогой примитивной схеме. Мы должны запечатлеть своего современника, а разве наш современник — это механический робот? Схема, как всякая схема, потому что она несложна — сама дается в руки, заразительна для других, обладает повышенной приживаемостью и начинает кочевать по рукописям и книгам. Вот бойцы нашего молодого автора. Сколько бойцов видели вы своими глазами? А в книге — не те, что воевали с вами рядом, а фальшивые, неживые схемы, перекочевавшие из посредственных и просто плохих книг. Вы их читали, критика их хвалила, и вы невольно равнялись на эти книги, как на образец. Вот там, где вы писали самостоятельно, как видели сами, — там у вас хорошо: как бойцы едят, перематывают портянки. Но хорошо только до той минуты, пока они не открывают рта. А когда открывают — все они оказываются на одно лицо и начинают изрекать вещи, известные прудным детям. Смотрите, они у вас не произносят ни одного худого, «неправильного» слова. А боец иногда выругается, и в этой его ругани больше смысла и понимания обстановки, чем в велеречивых тирадах. Когда пишете — читайте самому себе вслух, тогда скорее и легче поймаете фальшь. С приятными персонажами хочется встретиться, увидеть их воочию, как живых. Читая Толстого, все время хочется встретиться с Пьером, князем Андреем. Поделиться с ними своими раздумьями, послушать их, спросить совета. С вашим комиссаром хочется встретиться только затем, чтобы снять его с должности — чтобы он не ходил больше и не говорил так скучно, такие прописные истины. По замыслу вашему он должен вливать в людей бодрость, энергию, а он вливает только тошнотворную скуку. Речи его для бойцов, их душ и сердец, не живая вода, а мертвая, от них все в человеке съедается, увядает. А ведь в жизни, вероятно, у этого комиссара был прототип, и он не был таким, от его появления мухи не дошли!

— Нет, конечно! — вместе со всеми засмеялся и раскритикованный автор. Сконфуженный «поркой», он сидел, весь залитый густой краской. В лице его было полное согласие с Паустовским. Все, что тот говорил, нутром он чувствовал и сам, когда писал свою книгу, да, как это часто бывает с начинающими, не хватило писательского мужества, свободы духа и мысли довериться своему внутреннему «компасу», не мешать ему холодной рассудочностью, оглядками на уже существующее.

— Вот видите! — горячо сказал Паустовский. — И убежден, если бы вы покопались в памяти, припомнили бы поточнее его характер, привычки, манеры, особенности языка, бросили хотя бы десяток этих подлинных черточек в книгу — сейчас перед нами был бы живой, ни на кого не похожий человек, настоящий комиссар... А вы пошли не за жизнью, а за литературной схемой, подпали под гипноз шаблонов...

Было бы, наверное, длинно продолжать дальше. И уж, конечно, было бы длинно пересказывать подробно все, что говорилось Паустовским в ходе работы семинара. Чтобы не «размазывать», я остановлюсь только на самых общих его мыслях, — бегло перелистаю страницы сохранившегося блокнота.

— ...Это несомненная ошибка — требовать от писателя вещей, от которых он далек. Писателя влечет исторический материал, а ему говорят: сейчас надо о колхозе, заводе... Писатель, допустим, поэт, романтик по складу своей натуры, дарования, а ему говорят: надо ходить по земле, а не летать по воздуху... А другой — бытовик, человек сугубо земной, весь нагруженный знанием текущей жизни, забот и хлопот простых трудящихся людей. В этом — его сила, как писателя, такой у него глаз, такая устремленность сердца, другим он не может быть. А ему говорят: «приземленность», «бескрылость»...

— ...Читателя нужно все время держать в строгих берегах повествования, вести к цели — к итогу того, что хотите ему рассказать, к тому последнему впечатлению, которое хотите вызвать, оставить. Мысль о несамостоятельности автора, о заимствовании хотя бы мелочи, — разрушает плен искусства. Вы написали:

море было большое... Но это фраза Чехова. Доверие к вам нарушено, читатель выпал из ваших рук. Своих образных средств у писателя в запасе не так уж много. Память в процессе писания все время подсказывает чужие понравившиеся образы, эпитеты, словом — читанное, ставшее штампами. Необходима борьба с шаблоном у самого себя. Полезно перечитать свою рукопись в целях строгого контроля: вычеркнуть все штампы. (Реплика: — А если ничего не останется?) Что ж, это тоже нужный результат, горький, но правдивый: значит, как писатель вы не существуете...

— ...Благополучный язык. Он встречается всё чаще. Редакторы его любят: не надо править. Иногда, заблуждаясь, его называют «чистый литературный язык». А он просто дистиллированная вода. Для чего же жил Пушкин и все наши великие предки, которые создали яркий, богатый русский язык? Так думаю я всегда, когда встречаю приглашенную прозу. Органическое чувство языка никогда не позволит поставить в рукописи мертвое слово. Надо выработать в себе это органическое чувство. Ищите бывалых людей, говорите с ними. Языковые богатства рассыпаны не только в художественной литературе. Ищите их в литературе научной, в справочниках. Лоции. Это — фольклор. Они писались десятилетиями, поколения моряков вносили в них изменения, прибавляли к ним свое. По лоциям можно изучать язык различных эпох...

— ...Писательская биография — великое дело. Если ее нет — её надо создавать. Насыщать свою жизнь впечатлениями и событиями. Ведь автор пишет о том, что он знает, что он видел, пережил, — даже в исторических романах. Кстати — о романах. Романы писать легче. Молодых писателей я толкаю на писание коротких рассказов. Это — школа мастерства. Каждый рассказ должен быть посвящен одной теме и одному эпизоду. Вырабатывается чувство композиции. Молодой автор постигает роль детали, учится создавать обстановку экономными средствами...

— ...Автор должен любить своих героев, но не должен ими открыто восхищаться. Такой автор мешает читать книгу. Не надо так много красивых, широко-



плечих. Читая, я начинаю тосковать по обыкновенному человеку: курносому, застенчивому, не знающему, что такое «работать на публику», говорящему без восклицательных знаков.

— ...Вещь должна быть написана искренне. Состояние писателя, с которым он пишет, читатель всегда почувствует. Почувствует и фальшь, — если не от души. Надо знать материал, из которого строишь книгу. Если автор видит точно — всегда точно увидит и читатель. А если знания автора приблизительны, то и у читателя в глазах туман...

— ...Я против записных книжек, потому что считаю, что основа литературы — это воображение и память. Когда вы берете фразу из записной книжки и вставляете в текст, который пишется уже в другое время, при другом вашем настроении, — она сразу жухнет и умирает. Записные книжки я признаю только как жанр.

— ...Книга написана иллюстративно: была тема, был план — и вот иллюстрация к каждому пункту плана. Вопрос о планах — очень любопытный, серьезный. Существует много канонов, предрассудков. Например: каждое произведение требует точного плана. Но если люди в произведении живые — они ломают план. Татьяна, к удивлению Пушкина, вышла замуж, хотя это не было предусмотрено планом. План не дает возможности вводить новых людей, все то, что возникает в голове во время писания; короче — план сковывает, связывает. Но это дело индивидуальное. Есть писатели, которые совершенно не могут без плана: затеряются эти бумажки, и писатель — как заблудившееся в лесу дитя...

— ...Нужно помнить о внутреннем соответствии материалу, теме. Писатель, который пишет о молодежи, должен быть молодым. О первой любви нельзя писать под бременем годов.

— ...Какие задачи выполняет писатель своими книгами? Самые различные. Пробудить любовь к профессии — это тоже задача, и задача благородная. Для многих людей — это указание друга: куда, в каком направлении устремить свою жизнь. Профессий множество, а книг, зовущих людей к труду, соблазняющих их поэзией труда, — пока еще очень мало, несмотря

на то, что как будто только о труде мы и пишем... Вот эта вещь (повесть Маргариты Мигуновой «Степная глушь». — Ю. Г.) написана так, что, когда вы ее прочитаете, вам захочется немедленно участвовать в труде, в работе на комбайне. Штурвальный говорит о машине, как о новом существе. Комбайн, машина — и та стала действующим лицом. В повести нет умиления, но есть хорошее удивление перед теми вещами, которые описывает автор. Чтобы хорошо писать, надо иметь детский взгляд, видеть все так, как будто видишь в первый раз. Автор это умет. У нее — непосредственность впечатлений, и она это умеет передавать. Вот так — неповторимо и неподражаемо — умел Пришвин. Под Москву на речку Дубну он ездил будто в экспедицию на неизведанную землю. Горе для писателя, если окружающий мир становится для него привычным и глаза его потухают. Это потеря связи с миром, это конец писательства... Я знаю, напечатать эту повесть автору помог Павленко. А критики ее изругали. К сожалению, у критиков для ругани все еще находится больше слов и больше энтузиазма, чем для похвалы...

— ...Писатель призван к своему делу данным ему природою талантом, как на действительную службу, и от этого не уйдешь. А раз это так — надо отдать этому целиком всю жизнь. Писательская работа накладывает на нас огромную ответственность. Мы наследники культуры прошлого. Мы должны выразить свое время, свою эпоху, запечатлеть нашего современника. И все это — передать дальше, в будущее. Мы отвечаем не только перед своим поколением, через свои книги мы будем говорить с людьми будущего. Мы будем свидетельствовать обо всем, что было при нас, о всех победах и свершениях, о всем, что несло в себе наше время, о всех его величественных, героических и трагедийных чертах. Мы должны показать все хорошее, что было при нас сделано и достигнуто, и ни о чем не умолчать, так как любое свидетельство, чтобы таковым называться, должно быть всесторонним и правдивым. Хочу подчеркнуть это еще раз — нашу моральную ответственность и то, что мы должны быть достойны своей задачи...

— Видели вы последнюю фотографию Грина? — этот вопрос задал мне Паустовский в Ялте, уже много-много лет спустя после Эртелевки, Ростова, коротких встреч и бесед в Москве.

Крымская весна была в самом своем нежном начале, когда солнца и света больше, чем тепла. Розовато-дымчато цвел миндаль, сады на склонах гор походили на пушистые облака. Яйлинская каменистая гряда снежно сверкала, плотный студеный воздух стекал сное, предрасставанное: так тянет в заветную страну. При его накатах свистели ветви голых дубов в саду литфондовской дачи, раскачивались и сгибались на кипарисах венчавшие их тонкие остроконечные кисточки.

— Без этой фотографии Грина по-настоящему нельзя почувствовать, — сказал Паустовский. — Представьте, больной, высохший, Грин лежит в постели, а поверх простыни сложены его руки, длинные, сухие... огромные кисти в жилах и венах, узловатые пальцы переплетены, как корни могучего дерева. На фотографии есть и его лицо, но настоящий его портрет — не лицо, а вот эти руки... В них повесть всей его жизни, по ним видно, какой непосильный груз пронес он на себе, сколько грубой тяжелой работы пришлось ему переделать, как много эти руки написали... Я вам пришлю эту фотографию. У меня есть несколько копий. Мне подарила его вдова...

Фотографию он не прислал. Забыл.

Руки Грина я увидел много времени спустя, когда уже не было в живых Паустовского, побывав в Старом Крыму, в маленьком музейчике, открытом Нинной Николаевной Грин.

Да, фотография способна поразить, остаться в глазах навсегда... А руки Грина вызывали у меня в памяти руки самого Паустовского. Нет, они не были близко похожи, но все же в них было сходство, нечто общее; казалось — их выковала одна наковальня, та, не знающая жалости и снисхождения наковальня тяжелого мускульного труда, что формирует руки моряка и рабочего, наковальня пожизненной писательской работы, тысячи написанных страниц...

Вслед за словами о последней гриновской фотографии Паустовский стал рассказывать о своем пребывании в тридцать четвертом году в гриновских местах — Севастополе, Феодосии, Старом Крыму, когда он задумывал и писал «Черное море». Это была «гриновская полоса» в его жизни. Потом были другие полосы, другие увлечения, и вот теперь, на склоне жизни, к нему как бы вернулась его старая страсть; о Грине и его рассказах он говорил юношески-просветленно, мог говорить долго, без усталости, — «Гринландия» снова явственно влекла его к себе...

Но это были уже не прежний интерес и прежняя любовь. В этой тяге было уже что-то другое, пустое, предрасставанное: так тянет в заветную страну молодости, к чистым ее родникам, когда стрелки на циферблате жизни готовятся уже замкнуть круг...

Когда бы, о чем бы ни рассказывал Паустовский — всегда это действовало зазывно-соблазнительно: звало в дорогу, в путешествие, или же к хорошей книге, или же в чью-нибудь выдающуюся биографию — полюбить сильного и замечательного человека.

Мне тоже захотелось в «Гринландию», захотелось перечитать знакомые рассказы Грина, его «Автобиографическую повесть», — перечитать по-другому, не как раньше, а как требует этого уже зрелый возраст — не ради сюжетов, острых и необычных, а ради той мудрости, что от безграничного богатства мысли, ума, как бы даже небрежно, походя, без осознания ее ценности, рассыпана по страницам гриновских книг и стала причиной того, — именно она, а не пресловутая сюжетность, — что Грину оказалось не страшным быстрое время с его беспощадно действующим забвением.

Я взял в библиотеке томик гриновских рассказов. Чистенький, незатрепанный, не заслонявленный на уголках страниц — как в любой общественной читальне. Писатели, приезжающие в ялтинский Дом творчества, берегут время для работы, и книгам, имеющимся к их услугам в библиотеке Дома, не угрожает быстрый износ...

Но кто-то этот томик все же читал. В середину его были вложены закладки — узенькие полоски бумаги.

Может быть, Паустовский? Живя в Ялте, он постоянно передавал библиотекарше записочки — что ему почитать, и книги в его комнату носили тяжелыми стопками.

Я открыл, где открылось, — одну из заложенных страниц, прочитал:

«Беззащитно сердце человеческое. А защищенное — оно лишено света, и мало в нем горячих углей, не хватит даже, чтобы согреть руки...»

## 24

Здоровье у Паустовского уже сильно сдало. По-прежнему его влекло странствовать, хотя бы в малых пределах — поехать в дом Чехова, в Гурзуф, в массандровские пещеры, где хранится вековое вино, на вершину Ай-Петри, к зубцам, что все еще огненно горят, когда солнце уже скрылось в море и весь остальной горный хребет окутан сиренево-серым сумраком. Но перетруженное сердце лишало его радости общения с миром, свободы, делало пленником кровати, комнаты, парковых дорожек, на все его порывы и желания накладывало запрет, ограничения. Даже если ходить — то медленно и недалеко, разговаривать — недолго и только о таких вещах, которые не могли бы разволновать, огорчить, вывести из душевного равновесия.

В руках у Паустовского теперь постоянно была перетянутая резинкой коробочка с пульверизатором и противоастматическим составом, привезенным из Франции. Когда удушье перехватывало дыхание, он вдвухвал в горло одну-другую шипящую струйку — и дыхание через несколько мгновений возвращалось.

Он уже давно не курил, оставил эту привычку всей своей жизни, сам удивляясь, как это с ним произошло. В Тарусе, где он приобрел дом, чтобы не дышать дымным воздухом Москвы, после одного из приступов астмы его повезли к врачу. Врач оказался не простой, служил в прошлом на флоте. Он не стал говорить про вред курения, как другие, только спросил — вы курите? Паустовский сознался — да. Врач промолчал, но как-то так, что это оставило впечатление, и с этого момента начисто пропала тяга к папиросе.

— Он меня заколдовал, — говорил Паустовский, смеясь, но и чуточку в это веря.

Без очков он не видел уже ничего, да и очки у него теперь были другие, гораздо сильнее, из толстых стекол.

Он любил бильярд, и когда чувствовал себя сносно, приходил в бильярдную, брал кий. Профессионально мелил его, ложбинку на левой руке между большим и указательным пальцем. Ему уважительно предоставляли право первого удара. Однажды он прицелился, щурясь, но не ударил, поднял кий и, как бы печально иронизируя над самим собой, сказал:

— Вы думаете, я вижу эту пирамидку?

При каждой малейшей возможности, даруемой ему сердцем, если набиралась хоть горсточка сил, — он старался улизнуть из-под медицинского присмотра, из-под опеки членов своей семьи и всяких окружающих доброхотов, стремившихся его оберегать и ужасно утомлявших его этими заботами, и хоть полчаса, но провести так, как ему хочется, не помня о режиме, лекарствах, врачебных запретах и предупреждениях.

И если это удавалось — в какие неожиданные места он забирался! На окончность мола, к маяку, на зверское хлестанье ветра — посмотреть, как будет входить в порт утробно урчащая дизелями «Россия», на шумный многолюдный базар, в ряды, где какие-то старцы, знахари—не знахари, представители народной «травяной» медицины, продают непонятные корешки, присовокупляя свои объяснения, как готовить из них растирки и мази, и уверенно обещая быстрое исцеление от разнообразных болезней, в холодные кладовые краеведческого музея, где стоят скифские брюхатые курганные бабы и недавно появился редкостный древнегреческий пифос, сосуд для воды и засолки рыбы, найденный в окрестностях Ялты...

На ялтинской набережной, в конце ее, там, где она переходит в приморский парк, стоит старых времен гостиница «Ореанда». При ней — кафе, в которое надо подниматься по внешней железной, гулко гудящей под ногами лестнице. Кафе как бы висит над береговой полосой, над пенной белизной прибоя. Во всю ширь окна — море, каждый раз по-новому окрашенное, с размеренным неторопливым движением увенчанных се-

дыми гривами валов, взявших свое начало бесконечно далеко — у турецких берегов. Ветер треплет жесткие веерные листья пальм, клочья войлока на зазубренных стволах; на горизонте в мгlistой дымке — трехмачтовый парусник. Учебный, для одесских курсантов мореходной школы.

Капелька воображения — и, сидя за чашкой кофе у окна, можно перенестись на любые долготы и широты, увидеть себя где угодно: в Марселе и на Гаити, на набережной Пиррея. Можно вообразить и другое — что живешь столетие назад, когда Ялта была Джалтой, маленьким белым селеньцем на склоне массандровской горы, с церковной колокольней, служившей еще и маяком, а у береговых камней в таком же вот прибое качались на якорях рыбацьи лодки с бедными заплатами парусами, а за камнями и пеной, на глубине рейда, вздымали ввысь свои тонкие мачты романтические бриги и баркентины с флагами далеких стран за кормой.

Можно вынести себя вообще за границы реального и переместиться в гриновский Зурбаган или Лисс. Ялта легко может быть чем угодно — недаром ее так любят киношники и все экзотические фильмы, в том числе и про пиратов «Острова сокровищ», накручены в ней и в ее окрестностях.

Приморское кафе, в котором смешались запахи крепкого трубочного табака и морской соли, апельсин и тут же зажариваемого кофе, в котором не диво услышать английскую или французскую речь иностранных туристов, для каждого, в ком есть живое чувство, кто способен перешагнуть за черту обычного, — это как бы корабль, путешествующий в пространстве и времени, и именно из-за этого его свойства, чувствуя его и цена, вероятно, и любил приходить сюда Паустовский.

Избегнув надзора, нарушая наложенные запреты, он уединялся здесь с кем-нибудь из близких себе по духу и настроению людей. Чашечка черного пахучего кофе, у собеседника — еще и рюмка коньяку... Синий берет Паустовского небрежно брошен на стол, идет неторопливая беседа, ее тема почти всегда одна: сила, звучность, великолепие слова..

Положенная на стол рука Паустовского протянута вперед, к собеседнику, ладонью вверх, широкая ладонь раскрыта. Паустовский как бы держит на ней слова, что достал из своей памяти, показывая собеседнику их цвет, их зримый облик, их весомость. Это его наслаждение, одна из последних, еще доступных ему радостей: вспоминать стихи, что были когда-то читаны и с юности оставались с ним, как образцы той высоты, какую способно достигать мастерское владение мыслью и словом, самым звуком русской речи. Память уже не та, от иных стихов уцелели только строфы, строчки, но все равно это богатство, россыпи драгоценностей, собранные тонким и точным вкусом, строгой взыскательностью; даже одна какая-нибудь рифма, один какой-нибудь эпитет — но в них пронзительная сила, как в ударе колокола, свет молнии...

В такие минуты, случайно обнаружив в кафе Паустовского, лучше было не подходить к нему, не разрушать магию, волшебство поэзии, царившей за столом, — лучше всего было сесть где-нибудь в стороне и смотреть и слушать издали...

— А помните? — глуховато, с хрипотцой спрашивал Паустовский у собеседника и неторопливо, сам первый вслушиваясь в ритмику, музыку стиха, произносил несколько строк, как бы слово за словом кладя на свою широкую, протянутую ладонь. — «...А не бо так нетленно-чисто, так беспредельно над землей...» Или вот это, помните, тоже из Тютчева... «Назло людскому суесловью велик и свят был жребий твой...»

## 25

Каждый шаг давал ему возможность убедиться, как известно и популярно его писательское имя, его книги. К нему тянулись люди, казалось бы, невозможно было пожаловаться на недостаток внимания, заботы, жизненного устройства, нужного писателю. Однако же при всем этом чувствовалось, угадывалось, что в жизни его нет настоящего, желанного ему уюта, что окружает его ненужная, обременительная суета, мешающая его работе, его сосредоточенности, размышлениям и на пустяки расхищающая его время, которого у него осталось уже так мало.



— Работать негде... — однажды, страшно удивив меня, пожаловался он. Я спросил: а в Тарусе? Ведь там у него дом на обрыве над Окой, стало быть — уединение, тишина...

— Да, там у меня для работы есть комната. Но все заходят...

В Ялте, которую он любил, к которой привык и куда приезжал обязательно каждой весной, в марте—апреле, чтобы избавиться от вредной ему московской слякоти, туманов, у него тоже не было покоя и уединения. Ему бессовестно надоедали, прося прочитать книги, сказать свое мнение, познакомиться с рукописью, написать в издательство рекомендательное письмо. Другие просто докучно толклись около, если он выходил подышать, увязывались сопровождать на прогулках, теснились у его обеденного стола, — поговорить, послушать, очень часто из одного лишь тщеславного желания числиться в «близких знакомых» Паустовского и потом в круту приятелей пересказывать, как он о чем отзывался, как что оценил, рассказанные им эпизоды, истории. Деликатно и застенчиво, — если страдая, то молча, невидно, про себя, — он терпел всех: и тех, кто искал в нем поддержку для своих отношений с издательствами, и просто говорюнов, вечных литфондовских иждивенцев, растративших свои жизни, свое время на болтовню друг с другом в литфондовских творческих домах и все только собирающихся что-то такое написать...

## 26

Однажды у него были серые губы, неподвижно, тяжело, как неживая, обвисала кожа лица, резко чернели глубокие складки по сторонам рта. Он был среди людей, но в одиночестве: сумрачно-замкнут, погружен в себя. О чем должно было ему думаться? Просилось естественное движение — отвлечь, оторвать его от себя, и я сказал что-то неуклюжее, бледное, — потому что нет в человеческой речи слов нужного при таких случаях смысла и звучания, — что-то с жалкой потугой ободрить его, заверить, что ему еще долго жить и работать...

— Нет, это все скоро кончится... — откровенно и просто, с полным бесстрашием, не принимая фальшивых надежд, ответил Паустовский.

Однако он ошибся. Кончилось еще не скоро, а главное, не легко: мученичеством, медленным, растянувшимся на долгий срок, угасанием — при беспощадно-ясном сознании, способном до последнего часа беспощадно-ясно все понимать и оценивать...

Когда пришли газеты с траурной рамкой вокруг его портрета, я кинулся на вокзал: ехать в Москву, увидеть его в последний раз.

Было лето, июль, после экзаменов разъезжались студенты, билеты были распроданы на десять дней вперед.

Я безнадежно потолкался у касс, разыскал кабинет дежурного по вокзалу. Он сидел под вентилятором, в духоте, замороченный, издерганный. У него уже перебивали сотни людей, и каждый просил, умолял, требовал билета.

Но на столе у дежурного лежала газета, раскрытая на странице с траурной рамкой...

Я не разобрал его отрывистых начальственных слов, сказанных по селектору кассирше.

Пробиваясь сквозь плотную толпу к окошечку кассы, за которым меня ожидал билет, я вдруг остановился. Понял, почувствовал, что брать его не надо. Не надо ничего этого делать: ехать в Москву, видеть мертвое, непохожее, не его лицо, гроб, утопающий в ритуальных цветах...





ПРЕДКИ  
БУНИНА





«...в «Гербовнике» род наш отнесен к тем, «происхождение коих теряется во мраке времен». Знаю, что род наш «знатный, хотя и захудалый», и что я всю жизнь чувствовал эту знатность, гордясь и радуясь... Как передать те чувства, с которыми я смотрю порой на наш родовой герб? Рыцарские доспехи, латы и шлем со страусовыми перьями. Под ними щит. И на лазурном поле его, в середине — перстень, эмблема верности и вечности, к которому сходятся сверху и снизу своими остриями три рапиры с крестами-рукоятками...»

Так начинается повествование о себе, о своей жизни бунинский Арсеньев.

Но герб, о котором он упоминает, не арсеньевский, хотя в самом деле были такие дворяне Арсеньевы, соседи Буниных по Елецкому уезду; один из Арсеньевых даже служил вместе с отцом писателя Алексеем Николаевичем в ополченческой дружине во время Крымской войны. Герб — самих Буниных, и слова о нем — почти те же, какими описан он в «Общем Гербовнике дворянских родов Всероссийской империи», начавшем выходить в свет с 1797 года отдельными увесистыми томами, — по мере изготовления и утверждения Герольдмейстерской конторой дворянских гербов<sup>1</sup>.

И гордость Арсеньева своим происхождением, тем, что предки его с давних времен причастны к русской истории, оставили в ней свой след, — это тоже личное, собственно бунинское: гордость самого Бунина древностью своего рода, явственно, отчетливо выступающая во всех его автобиографических заметках.

«О роде Буниных я кое-что знаю. Род этот дал замечательную женщину начала прошлого века, поэтессу А. П. Бунину, и поэта В. А. Жуковского (незаконного сына А. И. Бунина); в некотором родстве мы с бр. Киреевскими, Гротами, Юшковыми, Воейковыми, Булгаковыми, Соймоновыми, — таким вступлением счел нужным начать И. А. Бунин рассказ о своей литературной деятельности, предназначенный для сбор-

иска, который издавал в 1915 году в Москве проф. С. А. Венгеров. — О роде нашем в «Гербовнике дворянских родов» сказано, между прочим, следующее. «Род Буниных происходит от Симеона Бунковского, мужа знатного, выехавшего в XV веке из Польши к великому князю Василию Васильевичу...»

Иные, пишущие о Бунине, склонны считать только чванством, «барской спесью», пороком «классового происхождения», что Бунин помнил, в какой длинной цепи имен стоит его имя, и при случае не забывал это отметить.

Но право, такой ли уж это грех и грех ли вообще, — помнить о своих предках и испытывать к ним уважение, особое чувство от родственной с ними связи, если среди них такие отмеченные талантом и всероссийской славой личности, как поэтесса А. П. Бунина, поэт Жуковский, всемирно известный ученый Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, если родоначальник — «муж знатный», чей облик рисуется воображению из глубины древности в ореоле суровой героики, если еще в XV столетии началась служба Буниных российскому государству, служба хлопотливая, беспокойная, многотрудная, в разных должностях и званиях, в основном воинская, знавшая и ратные поля, и кровавые раны, и смерти в жестоких сечах с иноземными завоевателями, угрожавшими русской земле непрерывно, со всех сторон.

Кажется, что литератор, который отдал страницам своих книг столько личного, с таким пристальным вниманием наблюдал жизнь и быт своей среды, так досконально ее знал и чувствовал, так горделиво на протяжении всей жизни нес свою принадлежность к древнему российскому дворянству, — естественно и неминуемо должен был обратиться к своей фамильной истории, к истории своего рода, проявить особый, страстный интерес к своей родословной.

И вот тут Бунин удивляет тем, что на первый взгляд воспринимается как странность, противоречие: за всю свою долгую жизнь он так и не сделал ни одной серьезной попытки углубленно заняться своей родословной.

Рождение его пришлось на то время, когда дворянство уже сходило с исторической сцены, мельчало, ра-

створялось в массе обывателей, лиц других сословий, утрачивало прямые непосредственные связи со своим прошлым и даже саму память о нем.

Именно такая судьба постигла семью, в которой рос будущий писатель. По собственному его признанию, чуть ли не с отрочества он был уже «вольнодумец», «вполне равнодушный не только к своей голубой крови, но и к полной утрате всего того, что было связано с нею: исключительно поэтическими были мои юношеские, да и позднейшие «дворянские элегии», которых, кстати сказать, у меня гораздо меньше, чем видели некоторые мои критики...»<sup>2</sup>

Бунин был сложной, многогранной натурой, в высшей степени подверженной эмоциональным «кренам», в иные моменты своей биографии даже крайностям, не все его высказывания о самом себе следует принимать на веру, безоговорочно, особенно из того, что было им написано в годы эмиграции. Но искренность вышеприведенных слов несомненна: Бунин действительно мало знал о прошлом своей семьи.

История рода, даже близких предков, была известна Бунину не столько документально, фактически, сколько в самых общих чертах, и тоже больше «поэтически», — по устным семейным преданиям, семейному фольклору. Именно беззаботностью Бунина по части своей генеалогии и объясняется то, что даже в автобиографических записках, имея перед собой специальную цель — рассказать о своих фамильных предшественниках, Бунин так мало, так неконкретно сообщил о своем деде, о прадеде, почти ничего не смог сказать о Чубаровых, из которых происходила его мать Людмила Александровна, а касаясь более ранних предков, ограничился лишь тем, что добросовестно, не выходя за рамки текста, переписал то, что в самом приблизительном виде и крайне сбивчиво сообщал о роде Буниных официальный печатный справочник — уже упомянутый «Общий Гербовник дворянских родов», начатый в годы царствования имп. Павла I. и затем, лишь незначительно перефразируя и дополняя, повторили «Российская родословная книга», изданная князем Петром Долгоруким в 1856—57 годах, справочник «Дворянские роды», составленный графом Александром Бобринским (СПб., 1890 г.), дру-



гие аналогичные издания, энциклопедия Брокгауза и Ефрона (том IVa, стр. 934).

Есть и более прямое, неопровержимое доказательство незнания Буниным своих предков. В Орле, в литературном музее имени Тургенева, среди бунинских бумаг хранится листок, на котором Бунин, судя по почерку — уже в зрелом возрасте, пытался начертить свою родословную схему. Дед и два его брата указаны правильно. Бунину также было известно, что прадеда звали Дмитрием. Но прапрадедом он записал Савву, которого выводил от Никона. Насколько это ошибочно — читатель увидит из дальнейшего. Савва и Никон — это был совсем другой род, Трухачевых, Савва приходился Дмитрию Бунину не отцом, а тестем.

Над составлением биографии И. А. Бунина, достаточно полно представляющей его долгую жизнь и творческую деятельность, ныне работает немало исследователей. И все же, та часть биографии писателя, которая должна содержать сведения о его происхождении, родовых связях, все еще, к сожалению, не стала шире и объемней, представляет собою не намного больше того, что когда-то, цитируя «Гербовник», с полным к нему доверием написал о своей родовой принадлежности сам Бунин...

## 2

Справка «Гербовника», собирающая всех Буниных дворянского звания в одно гнездо «знатного мужа» Симеона Бунковского, с кратким упоминанием о некоторых его потомках, отличивших себя храбростью, о том, что «равным образом и другие многие сего рода Бунины... служили воеводами и в иных чинах и владели деревнями», кончается примечанием, что «все сие доказывается жалованною на поместья грамотою и копией с определения Воронежского дворянского депутатского собрания о внесении рода Буниных в родословную книгу в VI часть...»

Воронежский областной государственный архив, хранивший более миллиона дел разных дореволюционных губернских учреждений, в годы войны серьезно пострадал. В огне пожаров при разрушении горо-

да немецко-фашистскими оккупантами погибло две трети архивных фондов. Нельзя не скорбеть об исчезнувших бумагах: с ними навсегда, невосстановимо утрачены ценнейшие документальные источники к целым периодам местной истории. Невытравимые следы войны, семь месяцев гремевшей в черте города, явно видны на сохранившихся архивных материалах и по сей час: страницы иных дел обуглены по краям, прострелены насквозь.

Делам Воронежского дворянского депутатского собрания повезло: изрядная часть их сохранилась. Это совершенно необходимый материал для изучения истории заселения и освоения воронежского края, биографий отдельных дворянских семей, связанных с русской культурой, искусством, для тех, кого интересует происхождение названий многих ныне существующих сел и деревень.

Среди бумаг, содержащих доказательства прав на дворянство, сохранились и документы Буниных той ветви, к которой принадлежал Иван Алексеевич. Именно на эти бумаги ссылается «Гербовник».

Но того, кто желает найти в них подтверждение приводимым в «Гербовнике» сведениям, ждет разочарование. Несмотря на всю официальность издания, внушительный вид толстых, заключенных в кожу томов, справка «Гербовника» ошибочна<sup>3</sup>. Бумаги Буниных ни словом не упоминают о Симеоне Бунковском, выходец из Польши, о его правнуке Александре Лаврентьеве сыне, убитом при взятии Казани, о тех Буниных, что были стольниками, водили полки. Они говорят о дворянской службе и дворянских правах только непосредственных предков И. А. Бунина, охватывая всего лишь пять-шесть предшествующих поколений, то есть период с царствования Петра Первого и до середины XIX века.

К этим сохранившимся документам, к дедам и прадедам И. А. Бунина, его близким и далеким родственникам, отнюдь не знатым и отнюдь не богатым, вопреки мнению, сложившемуся в бунинской биографической литературе, а совсем наоборот — в большинстве своем мелким провинциальным помещикам, незначительным чиновникам, отставным офицерам невысоких чинов, — мы еще вернемся. Прежде поста-

раемся покопаться в корнях бунинского родословного древа и выяснить, из какого желудка пошел его рост, когда и откуда возникло и как затвердилось в родословных книгах имя Симеона Бунковского, якобы положившего начало обширному роду Буниных.

### 3

Для этого надо обратиться ко временам царя Федора Алексеевича, сына Алексея Михайловича от первой его жены Марии Милославской. Царствование Федора Алексеевича продолжалось недолго, с 1676 по 1682 год, и не было отмечено никакими особо громкими делами.

Но все же в эти дни совершилось одно событие крупного государственного значения: было отменено местничество.

Так назывался в Московской Руси особый порядок, по которому распределение служебных должностей между отдельными лицами происходило в зависимости от родовитости. Порядок этот был сложный и путаный, порождал бесконечные споры, обиды тех, кто считал, что терпит «поруху своей чести». Главное же — от него страдало управление государством. Местничество, ставившее во главу угла принадлежность к знатному роду, службы предков и родичей, их должности, закрывало на государственную службу путь людям даровитым, но худородным, не могущим похвастать чинами и званиями сородичей; правительству же оно мешало ценить и выдвигать людей прежде всего по их действительным собственным качествам: по уму, опыту, пригодности к делу. Местничество, пережиток древних, еще удельных времен, было невыгодно, неудобно и для большой массы обедневших, измельчавших представителей некогда знатных боярских родов, потому что родовая принадлежность, громкие фамилии, которые они носили, препятствовали без позора для себя ради жалования, прокормления семьи, поступать на рядовую военную службу, принимать назначения на мелкие служебные должности. Словом, местничество изжило себя, по-разному, но им тяготились почти все; часто, главным образом при отправлении воевод на военные действия, боярам, во избежа-

ние их споров и ссор, главное же — ради успеха предприятия, приказывали быть «без мест».

В 1681 году выборные от служилого сословия, собравшиеся «для устроения и управления ратного дела», высказались за полное упразднение местничества. В следующем 1682 году это решение подтвердил приговор Земского Собора. Книги, в которых записывались местнические дела и которые служили руководством при разбирательстве споров, сожгли. Решено было составить новые родословные книги, включив в них и тех дворян, которые выслужили свое дворянство в самые недавние времена. При Разрядном приказе для этого была создана особая комиссия — Палата родословных дел. Дворянам было объявлено подавать в Палату поколенные росписи своих родов, из которых и должна была составиться новая родословная книга.

Ее предполагалось устроить из нескольких частей. «Государев родословец», оставшийся от времен Ивана Грозного и включавший в себя только очень старые роды, представители которых занимали при царском дворе высокое положение и не утратили его — «не растеряли своей чести», — пополненный именами, прибавившимися за сто с лишним лет, должен был стать первой частью. Вторую часть должны были образовать те роды, которые только начали служить в царствование Ивана Грозного. Третью — получившие дворовые чины при царе Михаиле. Выезжих из-за рубежа предполагалось включить в особую книгу.

Палата приняла от дворян более 700 новых родословных росписей. Однако составление новой книги не состоялось, этому помешали события внутри государства, стрелецкие мятежи, внешние войны. Была сделана только самая легкая часть намеченной работы: пополнен «Государев родословец». Его переплели в бархат, и по переплету книга эта получила у историков название Бархатной. Спустя сто лет, в 1787 году, ее издал в Москве в университетской типографии Н. Новиков, дав ей название: «Родословная книга князей и дворян российских и выезжих». Оставшиеся в Палате в виде сырого, необработанного материала 700 родословных росписей Новиков перечислил в алфавитном порядке во второй части своего издания. На 294-й странице этого приложения находится указание на то,

что Бунины тоже подавали свою роспись в Палату, и она числилась там среди прочих росписей под номером 134.

Триста без малого лет, отделяющие нас от времени подачи родословных росписей,—срок большой. Его наполняют события, до основания потрясавшие государство. Особенный урон понесли московские приказные архивы в войну 1812 года, при пожаре Москвы. Не все росписи дошли до наших дней. Иные исчезли совсем, иные можно отыскать лишь в виде копий среди более поздних по времени документов, и лишь некоторая их часть сохранилась в подлинниках.

Но бунинским родословным повезло и тут: они не погибли, не затерялись и сейчас хранятся в Центральном государственном архиве древних актов.

Вчитаемся в этот документ, в котором самими Буниными, жившими в конце XVII столетия, их генеалогия изображена в виде последовательной череды поколений, четкой схемы, в конкретных именах, с биографическими фактами, — от самого ее начала, как представляли это начало авторы документа.

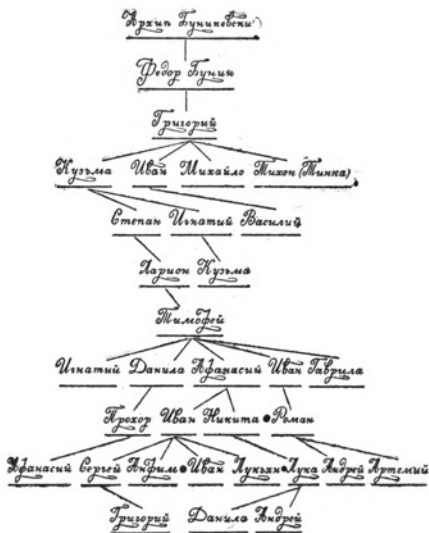
## «РОД БУНИНЫХ

Во дни великого князя Василья Васильевича всеа Руссии приехал из Польши муж знатный именем Архип Буникевский, и от него пошли Бунины. А на то прозвания значит кроника польская и гербовник. А в кронике польской пишет: при короле Жигимонте Августе на сейме был Архип Буникевский. А у Архипа сын Федор Бунин. А у Федора сын Григорей. А у Григория дети: первый сын Кузьма, другой сын Иван, третий сын Михайла без детей, четвертый сын Тихон, прозвища Тинка. А у Ивана сын Василий без детей. А у первого сына у Григорьева у Кузьмы Бунина дети: Степан да Игнатей. А у Игнатия сын Кузьма ж без детей. А у Степана сын Ларион, убит под Казанью на арском поле, как был под Казанью царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руссии. А у Лариона сын Тимофей. А у Тимофея дети: Игнатей, Данила, Афанасий, Иван, Гаврила; служили по Белеву по выбору. Игнатей без детей, а был в государеве полку в восемьдесят девятом году<sup>4</sup> в сотни у головы князя Михай-

ла Ивановича Глинского. А на то свидетельство сотенной список в Разряде. А Данила убит под Кромами, как был бой с ростригою<sup>5</sup> и с черкасы. А Иван Тимофеев сын был при царе и великом князе Михайле Федоровиче всеа Руси в Лихвине воевода. Да как был разбор во Мценску дворянам и детям боярским, а разбирать и верстать и жалованья раздавать окольный князь Семен Васильевич Прозоровской, а он, Иван, был окладчик по Белеву по выбору по списку первый человек. А на то свидетельство десяти разбору окольного князя Семена Васильевича Прозоровского в Разряде. А Гаврила Тимофеев сын без детей. А у Данила Тимофеева сына сын Прохор. А у Прохора сын Афанасей без детей. А у Афанасия Тимофеева сына дети: Иван да Никита, служили по московскому списку. Иван Афанасьев сын при царе и великом князе Михайле Федоровиче всеа Руси строил город на реке на Сосне у устья реки Чернави и был в Чернавском воевода. А Никита был воевода на Обоянску да на Черни. А у Ивана Тимофеева сына сын Роман, служил по московскому списку. А у Романа дети Андрей да Артемий в стольниках. А у Ивана Афанасьева сына дети Сергей, Анфим, Иван, Лукьян в стряпчих. А у Никиты сын Лука в стряпчих же. А у Луки дети: Данила да Андрей. А у Сергея сын Григорий. А была жалованная грамота царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Руси дана Тимофею Бунину, как была опричина, на белевское поместье, и та грамота на Москве в пожар сгорела. А то поместье ныне за Романом да за Лукою Бунины в вотчине. А Роман в прошлом в сто шестьдесят втором году<sup>6</sup> в первом и в другом в литовских походах был в полку боярина и воеводы князя Алексея Никитича Трубецкого у сотни голова, а у него в сотне были дворяне ярославцы. Да в прошлом же во сто семьдесят втором году<sup>7</sup> был в полку боярина и воеводы князя Якова Куденетовича Черкасского голова у сотни. А у него в сотне были стольники и стряпчие и дворяне московские и жильцы. А которые в иных городах окромя Белева пишут да прозванием нашим Буниными — и те Бунины не нашего роду. И нам до тех Буниных дела нет. И им до нас дела нет<sup>8</sup>.

7195 (1685) году 8 марта.

Гунины Гелевские



К сей родовой росписи Роман Бунин...  
К сей родовой росписи Иван Бунин...  
К сей родовой росписи Лука Бунин...»<sup>9</sup>.

«Во дни великого князя Василья Васильевича всеа Росии приехал из Польши муж знатный именем Семион Бониковский. А на прозвание значит краника польская и гербовник. А у Семиона сын Буня Семенов сын. А об нем, Буни, свидетельству в жалованной грамоте великого князя Ивана Васильевича всеа Росии, какову подали Денисьевы под росписью своею. А у того Буни дети: Ловрентий, прозвища Майко, да Михайло. У Майки сын Александр Бунин. Служили при великом князе Василье Ивановиче всеа Росии и при великом князе Иване Васильевиче всеа Росии по Володимеру. А Олександр убит под Казанью. Да Майковы ж дети Иван да Роман, да Иван меньшой без детей. Да Петр без детей. Он, Петр, при царе Иване Васильевиче всеа Росии написан в рясках десятнях, взят в полон. У Михайла дети Прокуда да Ондрей, у Александры сын Григорий; при царе Иване Васильевиче всеа Росии из Володимера сведены в Ряской. А Ондрей Михайлов сын, Прокуда меньшой брат и сын его, Андреев, Петр при царе Иване Васильевиче всеа Росии написаны в володимерских десятнях по Володимеру.

У Ивана сын Яков. У Романа сын Иван да Афонасей, оба без детей. У Прокуды дети Ждан да Степан без детей. У Григория сын Клементей. У Якова сын Федор. У Клементия дети Левонтий да Елисей без детей, да Онисим. У Федора дети Борис да Афонасей. У Левонтия сын Кузьма. У Бориса дети Василий да Григорий. У Кузьмы сын Василий. У Василия Борисова сына сын Иван.

А где они, Бунины, явились в десятнях и в каких честях были — и то писано ниже сего.

Иван да Роман да Иван меньшой, Майковы дети, да Прокуда, Михайлов сын, да Григорей, Александров сын, Ждан да Степан, Прокудины дети, — написаны в рясках старых десятнях при царе Иване Васильевиче всеа Росии в выборных детех боярских, которым в то время велено быть за ним, государем, в немецком походе. Да они ж, Иван и Прокуда, в то вре-



*Гукинъ Рязанскіе*



• - податели родословия

Родословная пополнена потомками Максима по книге князя Петра Долгорукова «Россійская родословная книга», Спб., 1857.

мя, как ряшен в тот поход разбирали, были с боярином со князем Иваном Яревичем Булгаковым в окладчиках. А служба их написана, что служить ему, Прокуде, государеву службу на коне, в саадаке<sup>10</sup>, да в сабле, в пансыре да в шеломе, за ним человек с простым конем в пансыре да в шеломе, в саадаке да в сабле, да человек на мерине со вьюком. А Ивана Майкова сына Бунина служба написана так же. И все те вышеписанные Бунины по разбору написаны за ним, государем, в немецком походе были. А поместной оклад им, ряшенам, был по триста четвертей и по двести по пятидесяти и по двести четвертей. И в старых десятиях царя Федора Ивановича всеа Руси написаны ряшени, по их челобитью переверстаны, которые собою и службою добры, а поместным окладом поверстаны были мало, тем, спрашивая про службу окладчиков, окладов прибавлено, а которые собою и службою худы, а верстаны поместными оклады большими, и у тех окладов убавлено, а они, Бунины, были окладчики ж и переверстаны по триста четвертей.

Яков Иванов сын во 7113 (1605) году, как посыла ны с Москвы в поход бояре за Гришкою Отрепьевым, и он, Яков, в походе был и золотым пожалован. Иван Романов сын при царе Василии Ивановиче<sup>11</sup> всеа Руси в московское осадное сидение в осаде сидел и вотчинными грамотами был пожалован, и те вотчины и ныне за нами. А жалованные грамоты утеряли. А о тех жалованных грамот свидетельство есть в печатном приказе. А был он по дворовому (списку. — Ю. Г.).

Афанасей Романов сын во 7113 (1605) году з бояры за Гришкою Отрепьевым в поход ходил и золотым пожалован. Да его ж, Афонасия, во 7116 (1608) году в Ряском в осаде убили изменники. Ждан Прокудин сын с бояры за Гришкою Отрепьевым в поход ходил и золотым пожалован. И в Царев-Борисов с бояры в поход ходил. Да он же, Ждан, убит, как Лисовской Ряжской зжѣг.

Клементий Григорьев сын во 7113 (1605) году был в передовом полку боярина и воеводы Михаила Глебовича Салтыкова, в поход за Гришкою Отрепьевым ходил и бился явственно<sup>12</sup>. Пожалован золотым. Во 7143 (1635) году был у сотни у ряшен голова. Во 7145 (1637) году прислан с Москвы из Розряду в Ряской

именам список ряшенам дворянам и детям боярским за дьячею приписью, велено им быть на государевой службе в Козлове, жить по третям. В первой трети написано первый человек дворовой 550 четь Клементей Григорьев сын Бунин.

Левонтей Клементьев сын служил по московскому списку, был в Костенску да в Олышанску воевода. А во 7157 (1649) году был на службе в Козлове в полку стольника Василия Семеновича Волынского. А от него был посылан головою с ратными людьми с ряшены дворяны и детьми боярскими с двумястами человеки на Польной Воронож на Касимовский перелаз д'ля обережи от крымских людей. И о том есть наказ. Во 7163 (1655) году был в литовских походах у подъезда<sup>13</sup> головою. Во 7168 (1660) году был у сотни у мещерян головою. Во 7176 (1668) году был у сотни у резани головою. Во 7177 (1669) году был у сотни у почепи, у трубчан и у белевцев головою. Во 7179 (1671) году был у сотни у мещерян головою<sup>14</sup>.

Анисим Клементьев сын служит по московскому списку. Во 7188 (1680) году был у сотни у дворян и у жильцов головою. Афанасий служит по московскому списку. Кузьма Левонтьев сын служил в стольниках. Василий да Григорий Борисовы дети служат по жилецкому списку<sup>15</sup>. У Кузьмы сын Василий году. У Василия Борисова сына сын Иван году»<sup>16</sup>.

#### 4

Итак, две линии Буниных.

Для удобства назовем первых белёвскими — по городу, по которому они служили, вторых — ряжскими, по Ряжску, куда прадеды подателей родословной были переведены из Владимира.

Белёвские Бунины, начиная счет своим предкам с тех же времен, что и ряжские, показали своим родоначальником Архипа Буникевского. Ряжские — Семюна Бониковского. Белёвские Бунины и ряжские выступают в документах не как ветви одного рода, а как два самостоятельных рода, не имеющих между собою ничего общего. Белёвские Бунины так прямо на этом и настаивают, подчеркивая свою обособленность, не желая никого больше признавать за родичей: «А ко-

торые в иных городах... те Бунины не нашего рода. И нам до тех Буниных дела нет».

Такие утраты «родственного согласия», памяти о родстве бывали не в редкость и могли происходить в случаях, когда ветви одного родового древа расходились столь далеко, что родственники фактически переставали быть родственниками и превращались просто в однофамильцев, или же когда представители какой-либо ветви, выдвинувшись, приблизившись ко двору, высокомерно отмежевывались от своих менее удачливых родственников, которым не улыбнулось счастье. Вероятно, нечто подобное имело место и тут, в отношениях между белёвскими и рязскими Буниными. Можно, конечно, предположить и другое — именно то, что утверждали белёвские Бунины: что это два совершенно самостоятельных, схожих только лишь фамилиями, рода, между которыми никогда не было соприкосновения.

Но такая версия все же маловероятна.

Начало свое Бунины относят к одной и той же исторической эпохе. Предки их участвовали в одних и тех же событиях (например, взятие Казани) и все время несли схожую службу по городам, которые очень близки географически, были созданы для одной цели: прикрытия южной границы Московского государства.

Все это, несмотря на разные имена показанных родоначальников, заставляет остановиться на мнении, что это две родственные ветви Буниных и идут они от одного корневого ствола, лишь по неизвестным для нас причинам к моменту подачи родословных утратили «родственное согласие», а прежде их отношения были гораздо теснее и ближе.

Именно так смотрели последующие генеалоги и составители генеалогических книг, потому что, колеблясь, не оговаривая как-либо, нисколько не посчитавшись с заявлением белёвских Буниных, словно само собою разумеющееся дело соединили и тех и других Буниных в один род. При этом над генеалогическим материалом было совершено насилие. Два разных родоначальника, естественно, создавали помеху; чтобы они не запутывали, из Архипа Буникевского и Семёона Бониковского произвели гибрид — Симеона Бунковского. В первом и единственном издании Бар-

хатной книги в 1787 году Бунины представлены уже только одним родоначальником, еще Буникевским, хотя и без имени, в дальнейших же изданиях, излагающих происхождение и родственные связи русского дворянства, решительно и категорично фигурирует никогда не бывалый Симеон Бунковский.

Имея перед собой это наглядное и явное мифотворчество, можно будет поставить вопрос: сколь же вероятно, что первоначальные Архип Буникевский и Семион Бониковский — это реальные фигуры, а не такие же призраки, не легенда, не вымысел подателей родословных росписей. Да, местничество потеряло свое значение и ни на что практически уже не годилось, но ведь обычаи изживаются не сразу, люди находились еще во власти старой, воспитанной местничеством психологии, еще многим было свойственно тщеславное стремление выглядеть «не хуже других», приукрасить свое фамильное прошлое. «Знатные мужи», под которыми имелись в виду иноземные князья, мелкие, несамостоятельные феодалы, если выезжали на службу к государям иных земель, к русским великим князьям, то выезжали не в одиночку, а со всем своим семейством, двором, немалым штатом своих слуг, а главное — с воинами-дружинниками. Наличие воинов, «боевых людей кованой рати», было при этом непременным, иначе кому бы нужен был выезд такого «знатного мужа», если он не был в состоянии и силе оказать существенную военную помощь хозяину, которому он собирался служить. Выезд иностранца с войском в триста, пятьсот, тысячу человек представлял заметное, значительное событие, о котором, как правило, старались обязательно упомянуть летописцы. Про выезды Архипа Буникевского и Семиона Бониковского летописные хроники времен княжения великого князя Василия Васильевича (1425—1462) молчат.

Однако молчание отрывочных, далеко не в полном своем виде дошедших до нас письменных свидетельств — это еще не аргумент против того, что такие выезды могли произойти. Гораздо важнее то обстоятельство, что время Василия Васильевича вообще было не подходящим для выездов на службу к великому московскому князю. Составители двух бунинских ро-

дословий, взяв для своих выезджих предков эпоху Василия Васильевича, видно, не обладали нужными историческими сведениями, не знали, что за тревожное это было время, какой беспокойною была обстановка в Московском княжестве, сколько превратностей и бед пришлось претерпеть несчастливому потомку Ивана Калиты, внуку Дмитрия Донского.

Василий наследовал «стол Московский и всея Руси» совсем маловозрастным, десяти лет. Он получил стол по завещанию своего отца. Это был новый порядок наследования, еще не прижившийся прочно и неоспоримо; прежде столы переходили от брата к брату в порядке старшинства, а затем, когда никого из братьев не оставалось в живых, — к сыну старшего брата. Дядя Василия князь Юрий Дмитриевич звенигородский не признал прав своего племянника на великое княжение и стал их оспаривать. Московское государство оказалось ввергнутым в длительную и кровопролитную междоусобную войну. При первом же столкновении с войсками князя Юрия полки Василия были разбиты, а сам он был захвачен в плен. Усоветившись, князь Юрий вернул племяннику Москву, но вскоре вновь заставил Василия бежать из столицы. Во вторично захваченной Москве князя Юрия сразила внезапная смерть, что было принято многими как всевышнее возмездие за неправомерные притязания, за пролитую кровь. Однако смерть Юрия не принесла конца междоусобице — борьбу с Василием продолжали Юрьевичи, его сыновья. Их было трое — Василий, по прозвищу Косой, и два Дмитрия — Шемяка и Красный.

Примириться с великим князем они не хотели и не могли, решался вопрос, кому под кем быть, кому подчинить себе всех других. Победа Василия означала его полное единовластие в Московской земле.

Юрьевичи знали, какова логика завязавшейся борьбы: чтобы не опасаться постоянно за свою жизнь, упрочить свою власть, Василий должен обязательно их уничтожить, и, боясь этого конца, толкаемые страхом и безвыходностью, вынуждены были предпринимать усилия одолеть великого князя.

Недремлющие татары, прослыша про раздоры московских князей, не могли не воспользоваться усоби-

цей, ослаблением Москвы, и привычно ринулись грабить московские и рязанские села и города, «пустошить» русские пределы.

Василий пробовал защищаться, но не смог собрать сильное войско и не было ему удачи: под Суздалем на речке Каменке хан Улу-Махмет легко разбил его полки. Василий храбро бился в самой гуще сражавшихся, получил множество ран, но был схвачен татарами. Улу-Махмет предложил ему выкупиться на волю за 200 тысяч рублей.

Какая это была неслыханно огромная сумма, можно представить по тому, что дань, которую ежегодно платило татарам население всего Московского княжества при Дмитрии Донском, равнялась пяти тысячам рублей.

В эти же дни тяжкого поражения от татар и пленения Василия случилась другая страшная беда: дотла сгорела Москва, не осталось ни одного дома, ни одного дерева, а каменные церкви «рассыпались в прах».

В следующем 1446 году Шемяка овладел Москвой, пленил мать и жену великого князя, казну разграбил, перехватал верных Василию бояр. Сам Василий в это время молился у Троицы. Его схватили прямо у раки с мощами Сергия Радонежского, на голых санях привезли в Москву, выжгли глаза и сослали в Углич. Сторонники Василия, спасаясь, бежали в Литву. Василий дал Шемяке клятву: «не искать» великого княжения. Но Василия поддержал тверской князь, и с его полками слепой Василий вновь вернул себе Москву. Однако и это был еще не конец. Долго еще шла борьба, немало острых моментов пришлось еще пережить обеим сторонам. Только в 1453 году удалось окончательно разделаться с Шемякой. С помощью подкупленного повара его отравили в Новгороде. Но остался Шемякин сын Иван, остался его верный помощник князь Иван Можайский, остался еще один Иван — сын серпуховского князя Василия Ярославича, заточенного великим князем Василием за «кромолу».

Можайский и Иван Васильевич Серпуховской дали друг другу клятву и подписали обоюдный договор не смиряться, а действовать против Василия заодно, мстить ему, как и сколь только можно, «доставать свои

отчины и дедины и непременно побить или согнать князя великого...»

Неугомонные татары продолжали терзать московские пределы, приходили на берега Пахры, осаждали Москву, жгли ее посады, «секли христиан и в полон вели».

Только в 1462 году были схвачены и казнены в Москве последние непримиримые враги великого князя Василия Иван Андреич Можайский и Иван Васильевич Серпуховской, но в этом же году великий князь Василий Васильевич и сам умер от «сухотной болести».

Таким было княжение внука Дмитрия Донского князя Московского и всея Руси Василия Васильевича, за слепоту прозванного Тёмным; ему пришлось провести в бегах, плёну и изгнании больше времени, чем сидеть на Московском столе; не раз он лишился всех своих пожитков и казны, утратил княжеские грамоты и татарские ярлыки на княжение, отнятые Шемякой, выдержал семь крупных битв, отстаивая свои права; к концу жизни превратности судьбы, перенесенные беды, многочисленные раны обратили его в хилого старика, могущего передвигаться только с чужой помощью.

За границу — в Литву и Польшу — в его время из Москвы бегали, история сохранила об этом свидетельства, и противники Василия, — когда его партия брала верх, и сторонники его, — когда Шемяка приходил в Москву и хватал васильевых бояр и вообще всех, в ком видел себе врагов. Но охотников среди чужестранцев ехать в такие смутные, полные неожиданных перемен и поворотов времена служить московскому князю, который совсем непрочно сидел на своем столе, неоднократно его лишился, не обладал достаточной казной, ибо вся она была захвачена Шемякой, по бедности своей даже не имел богатого платья, — таких охотников, надо полагать, не встречалось. Неустойчивость Василия, скудость его средств — это было совсем не то, что могло соблазнить наймитов-иноземцев, искавших в хозяине прежде всего силы и богатства, чтобы получить хороший прием и щедрое «кормление».

Добавок к княжеским распрям, разорительным для общего благосостояния, в середине XV столетия



русская земля жестоко страдала еще и от других бед. Периодически вспыхивали эпидемии, косившие людей пострашнее, чем стрелы и мечи при военных нашествиях. Летописи полны также сообщений о стихийных бедствиях, — пожарах, сжигавших леса и посевы на громадных территориях, лютых морозах, губивших скот, неурожаях и повсеместном голоде, от которого умирало людей еще больше, чем от оспы и чумы. Трупы лежали на улицах и дорогах без погребения; перед лицом смерти, грозившей каждому, люди ожесточались, «между родными не было жалости, сосед соседу не хотел отломить кусок хлеба, отцы и матери отдавали детей своих из хлеба в рабство купцам иноземным...»<sup>17</sup>

Выдающийся советский историк академик С. Б. Веселовский (1876—1952) в ряде своих работ заглянул в происхождение известных русских дворянских родов и приоткрыл причину того, почему так часто среди родоначальников встречаются выезжие иностранные «мужи» и почему абсолютное большинство из них не оставили о себе в русской истории какого-либо реально-го следа.

Касаясь подачи родословных росписей в Палату родословных дел после Соборного приговора 1682 года, С. Б. Веселовский писал: «За неимением у большинства дворянских фамилий готовых родословных, им пришлось наскоро собирать материалы и составлять поколенные росписи задним числом. Всякому, кто занимался генеалогией, известно, насколько это трудная задача, требующая от составителя хорошей подготовки. Само собою разумеется, что у служилых людей никакой подготовки не было, а материалов было очень мало. Еще до XVII века у многих оказалось на руках довольно много актов о службах их самих и их предков, но события Смутного времени произвели большие опустошения не только в государственных архивах, но и у частных лиц. Между тем всем хотелось доказать древность своего рода — так началось сочинение легенд о выездах знатных родоначальников и подделка различных «явных свидетельств», т. е. актов и справок»<sup>18</sup>.

Далее С. Б. Веселовский перечисляет, в чем конкретно состояли подделки документов. Их податели

прибегали не только к ссылкам на несуществующие десяти<sup>19</sup> разных городов, на участие в вымышленных, никогда не бывавших походах, даже на «жития святых», но и допускали прямые подчистки, подлоги, грубую фальсификацию, рассчитывая на то, что проверить — дело трудное, и Палата будет не слишком придирчива к поступающим от дворян бумагам.

«Мы видим здесь и наивное плутовство для возвеличения своего рода, и досужее чванство, соединенное иногда с большим невежеством», — отмечал С. Б. Веселовский во вступлении к другой своей книге, недавно изданной стараниями учеников покойного академика под названием «Исследования по истории класса служилых землевладельцев». В ней С. Б. Веселовский, глубочайший знаток древних документальных материалов и тонкий их толкователь, на множестве ярких примеров убедительно показал, какой подчас нелепый, смешной вздор обнаруживается под видом «свидетельств» о родоначальии, какую распространенною модою, каким обычным трафаретным приемом было украшать свои родословные легендами о знатных родоначальниках из иностранных государств.

«Эти легенды не только забавны, но и показательны для невысокого уровня их творцов. Некоторые легенды обличают авторов в незнании родного языка. Так, Загоскины, очевидно, не знали, что загоска, зекзюля, зегзица есть чисто русское слово, позже вытесненное немецкой кукушкой, и сочинили легенду о татарине. Чичерины считали своим родоначальником итальянца Чичери, выехавшего будто бы в Москву с Софьей Палеолог. Очевидно, они не знали, что чичером называется в средней полосе России, где они жили, непогода, мокрый снег при ветре. Прозвища Рюма и Бестуж, Бестужий, т. е. бесстыжий, были в XV—XVII веках весьма распространенными, но это не помешало Бестужевым-Рюминым считать своим родоначальником немчина Гавриила Беста. Толыза — чисто русское слово, означающее дубина, оглобля, а Талызины выводили свой род от мурзы Кучук Тагалдызина»<sup>20</sup>.

Еще более разителен приводимый С. Б. Веселовским пример с родом Андрея Ивановича Кобылы, боярина великого князя Семена Гордого. Потомки сочини-

ли легенду о том, что род этот якобы пошел от Камбила Дивоновича, выехавшего из Пруссии и бывшего ни много ни мало потомком прусских королей. Превращение же в Кобылу произошло от небрежности древних писцов, потерявших при переписке документов одну литеру. Легенда эта имела успех и держалась довольно долго, в XVIII веке барон Кампенгаузен написал даже большое исследование о Камбиле и его мнимых знатных предках. А между тем, указывает С. Б. Веселовский, достаточно было бы обратить внимание на то, что брат Андрея Кобылы Федор имел прозвище Шевляга, что значит кляча, плохая лошадь, старший сын носил прозвище Жеребец, младший звался Кошка, вспомнить, что подобные прозвища из мира животных, рыб, растений были в обычае, — и красивая легенда о Камбиле Дивоновиче рухнула бы сама собой.

Теперь, приняв к сведению высказывания академика Веселовского, можно лучше понять тех неизвестных генеалогов, которые имели дело с генеалогическими материалами бывшей Палаты родословных дел при подготовке новиковского издания Бархатной книги и Гербовника. Очевидно, что недостоверность легенд о выезжих родоначальниках они признавали достаточно хорошо, почему с такой легкостью и сотворили Симеона Бунковского: какая разница, кто будет значиться в родоначальниках, если и так и эдак — все равно это мистификация. Один из генеалогов позднейшего времени граф Александр Бобринский выразил это понимание несообразности легенд о родоначальниках. Он хотя и повторил вымыслы о Гедемине, происходящем якобы от Владимира Святого, о князе Чете, выехавшем из Орды, известном уже Камбиле, давшем начало фамилиям Кобылиных, Сухово-Кобылиных, Лодыгиных, Колычевых, Шереметьевых, Епанчиных, — счел все же необходимым снять с себя ответственность за несообразности и вымысел, снабдив свой сборник «Дворянские роды, внесенные в Общий Гербовник Всероссийской империи» (СПб., 1890) примечанием о том, что критики, если таковые найдутся, пусть обвиняют не его, Бобринского, а составителей Гербовника и Бархатной книги.

Рассуждения авторитетнейшего советского истори-

ка С. Б. Веселовского столь серьезны, привлеченный им для аргументации исторический материал столь основателен, что, познакомившись с его оценками родословных легенд, уже нельзя относиться к ним не критически и заниматься их простым переписыванием.

Видимо, и в данном случае — с родословными росписями двух ветвей Буниных, — самое правильное будет поступить таким же образом, как поступил С. Б. Веселовский с фамилиями Загоскиных, Чичериных, Кобылиных и т. д.: отбросить явно мифического, рожденного по методу гибридизации Симеона Бунковского, не менее явно мифических Архипа Буниковского и Семиона Бониковского и обратиться к народному русскому языку, поискать в нем разгадку происхождения фамилии Буниных. Вероятнее всего, что фамилия Буниных возникла тем же простым и естественным путем, каким возникли почти все русские фамилии: образовавшись из прозвища. Место действия Буниных XV—XVI веков — центральные области России, Орловский, Рязанский, Тамбовский края. В говоре этих областей распространены слова: бунить — что значит бурчать, гудеть, издавать гул, рев; и буня — так зовется спесивый, чванный человек<sup>21</sup>.

Составитель «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмер (М., изд. «Прогресс», 1964) совершенно прямо указывает на эти слова, как на первооснову для появления фамилии: «Буня — хвостун, гордец. Отсюда — фамилия Бунин» (стр. 242).

Чувство жизненности, чувство реального подсказывает, что фамилия Буниных возникла именно так, что дело тут обошлось без помощи Польши и знатных из нее выходцев. Тем более, что исстари, да в ту же самую пору великого князя Василия Васильевича Тёмного, к которой легенда относит начало бунинского рода, в событиях Московского государства принимали участие реальные лица с прозвищами, рожденными от слов «бунить», «буня». Вспомним хотя бы того оставившего в истории свое имя рязанца Бунко, который прискакал к молившемуся в Троицком монастыре Василию Васильевичу — предупредить о том, что враги его Шемяка и Можайский разграбили Москву, пленили всех бояр и идут теперь к Троице, чтобы схватить и погубить самого великого князя...<sup>22</sup>

По прошествии столетия после царя Федора Алексеевича, почти в те же годы, когда Новиков подготавливал и печатал в Московской университетской типографии совершенно уникальное ныне издание Бархатной книги, уцелевшее в единичных экземплярах, которые в Ленинской библиотеке находятся на особом хранении и выдаются читателям только в переснятом на фотопленку виде, — предки И. А. Бунина были вынуждены еще раз обратиться в правительствующие учреждения с родословными бумагами.

В такую необходимость были поставлены вообще все дворяне Российской империи. Идя навстречу их давнему и настойчивому желанию предельно прочно и навсегда закрепить свое имущественное и командное положение, Екатерина в грамоте 1785 года, как вслеречиво было сказано в тексте преамбулы: «движимая матернею любовью и отличной признательностью», жаловала дворянцам обширные права и привилегии, которые те жаждали и добивались иметь. В акте этом проявились своекорыстие и эгоизм крепостников, тайный и тоже своекорыстный умысел правительства, напуганного незадолго перед тем разразившимся народным восстанием под руководством Пугачева и заботившегося об упрочении своей власти, о поддержке со стороны тех, кто был главной опорой, кто составлял правительственно-командный аппарат в масштабах всего государства, кто осуществлял эту власть на административных постах в провинции и в армии.

Не укрыть этот истинный смысл было, конечно, нельзя; требовалось как-то иначе, поприличнее, объяснить народу и всему миру предпринятый законодательный акт. Жалование особых привилегий правящему сословию «на вечные времена и непоколебимо» преамбула грамоты представляла как воздаяние исторической благодарности той части общества, которая в течение 800 лет существования России, обладая качествами, «блистающими к началству», выдвигала предводителей «послушного, храброго, неустрашимого, предприимчивого и сильного русского народа», — «мужей разумных, искусных, храбрых, в трудах неумом-

ленных, с непоколебимым усердием ратоборствовавших многообразно», и тем самым привела Россию к нынешнему ее состоянию — к нынешней ее силе, «истинной славе и величеству».

Дворянство, дотоле не имевшее, как сословие, — говоря нашим современным языком, — устойчивой и определенной организации, четких форм для своего существования, с изданием Жалованной грамоты получало эту организацию, окончательно, совершенно четко оформлялось в большую сословную группу, резко отделенную выгодами своего положения от других сословий общества, от всего остального населения России.

Но дарование льгот, особых преимущественных прав влекло за собою необходимость разобраться и проинвестировать отсев в тех, кто называл себя дворянином, претендовал на полагающиеся дворянству права, льготы и преимущества. Началась, скажем опять нашим сегодняшним языком, поголовная перерегистрация дворян в масштабах всей России.

Губернские дворянские собрания, созданные из выбранных по уездам представителей-депутатов, принимали от дворян нужные бумаги и после утверждения Правительствующим Сенатом в дворянских правах вносили дворянские семьи в заведенные в каждой губернии родословные книги, делившиеся на шесть частей. Удостоившиеся утверждения получали на руки особую грамоту за подписью всех уездных депутатов, с приложением печати Губернского депутатского дворянского собрания.

С изданием екатерининской Жалованной грамоты российское дворянство, не слишком-то бережно хранившее свои документы, кинулось собирать и разыскивать бумаги и свидетельства, подтверждающие дворянские права. Никому не хотелось оказаться за бортом. В качестве доказательств фигурировали патенты на чины (в военной службе дворянское звание приобреталось выслугой обер-офицерского чина, в штатской — выслугой первых восьми чинов петровской табели о рангах), свидетельства, что «кавалерский российский орден особу украшал», указы на дачу земель или деревень, на верстанье по дворянской службе поместьями, наказы или грамоты, «данные дворянину

на посольство, посланничество или иную посылку»; тем, кто утратил жалованные грамоты на поместья, деревни, вотчины, вместо таких грамот разрешалось представлять купчие, закладные или копии с духовных завещаний, подтверждающие, что когда-то в роду у предков были дворянские имения. В зависимости от того, какого характера были доказательства, дворяне вносились в ту или иную часть родословной книги. Возведенные в это звание милостью самой Екатерины причислялись к дворянству действительному и записывались в первую часть; имелось в виду, что сюда же будут и в дальнейшем записываться все те, кто получит дворянство пожалованием царствующего монарха.

Во вторую часть грамота указывала записывать тех, кто достигал дворянства на военной службе. Те же, чьи предки были дворянами еще за столетие до опубликования Екатерининской грамоты, считались принадлежащими к древнему дворянству и вносились в шестую часть родословных книг.

## 6

Родному и двоюродному братьям прапрадеда писателя — орловскому помещику отставному капитану Ивану Федоровичу Бунину и секретарю Орловской казенной палаты Матвею Дмитриевичу Бунину — потребовалось около семи лет, чтобы собрать по архивам нужные справки и копии. Подавая в 1792 году в Орловское собрание дворянских депутатов прошение признать их дворянами, оба этих Бунина изображали свою генеалогию в весьма скромном виде, широко не заманиваясь. Они не ссылались на трехвековое существование фамилии, не упоминали Симеона Бунковского, его потомков, названных за сто лет до этого в своих родословных белёвскими и ряжскими Буниными. Дело было серьезным, предания не имели цены, если кто-то хотел и стремился причислиться к какому-то родовому древу, то родство нужно было доказать неопровержимо, документально. Словом, требовались точные документы и только документы. Даже такую вещь, как происхождение от своего отца, надо было тоже убедительно подтвердить консисторской справкой или

«заручным» свидетельством не менее двенадцати дворян, чье дворянство было уже доказано и не вызывало сомнений. Но и такое свидетельство все-таки не было еще действительным, пока его не заверит уездный суд.

Практически, в особенности обыкновенному провинциальному помещику, было все равно, в какой части родословной книги быть записанным, никаких выгод из этого не следовало, разве что в Александровский лицей и в Пажеский корпус принимали детей только древнейшего дворянства. Но человеческое тщеславие заставляло стараться попасть именно в эту категорию дворянства — в шестую часть родословных книг и для этого выискивать документы наивозможно более древних дат.

Память Ивана и Матвея Буниных о своих предшественниках простиралась, однако, не слишком далеко в глубь времен, что было очень характерно для семей мелких помещиков, мелкого служилого дворянства, где не вели особых записей, хроник, не составляли семейных архивов, помнили, как помнят в простых обыкновенных семьях: не дальше деда; прадед рисуется уже смутно, а более ранние предки забыты уже окончательно.

Иван и Матвей Бунины представляли наглядный пример этого печального, непохвального житейского обыкновения: о дворянстве своего рода они не могли сказать много, грамоты предков, живших в XVI и XVII столетиях, поколенные росписи, более или менее связно воспроизводящие родовое семейное прошлое, в их владении не сохранились; были, как видно, забыты и имена, что исключало помощь архивных хранилищ. Семейная история обрывалась для Буниных как раз на деде; за ним для них была уже неизвестность, пустота.

«Во исполнение Всемилостивейше пожалованной от Ея императорского величества дворянству грамоты к доказательству о происшествии нашего рода сим почтеннейше объясняем, — писали в Орловское собрание Иван и Матвей Бунины, — что дед наш Яков Савельевич Бунин, как значит в грамоте, данной 1706 года сентября в 7-й день от Великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всея Великия и Ма-



лая и Белыя России самодержца, жалован землею, которою грамотою велено дать ему в число его оклада 350-ти четвертей к прежнему его поместью еще 225 четвертей, из чего и видно, что оный дед наш тем окладом верстан еще прежде помянутого 1706-го года, но за много ль до того времени и в котором точно году, того нам за разными в древние времена происшествиями, бывшими у предков наших (неизвестно.—Ю. Г.), на то документы, переходя из рук в руки, до нас не дошли, доказать не можем...»<sup>23</sup>

Прошение свое Иван и Матвей Бунины подкрепляли копией с грамоты Петра I. Нелегко, надо думать, было сыскать ее в бумажных дебрях Поместного приказа и нелегко было раздобыть другие нужные документы, если только через семь лет после издания грамоты о дворянских правах были готовы Бунины отстаивать свое дворянское звание.

«От Великого Государя царя и великого князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца во Мценск стольнику нашему и воеводе Степану Семеновичу Ергольскому.

Бил челом нам, Великому Государю, мецнянин Яков Савельев сын Бунин. Нашего Великого Государя жалованья велено за ним по окладу учинить поместья на триста на пятьдесят четвертей<sup>24</sup>. А поместья за ним во Мценску сто двадцать четыре четверти с третником. А не дано ему в оклад дву сот двадцати шести четей без третника...»

Далее в грамоте говорилось о мецнянских землевладельцах, неких Алтуховых и Выскребенцовых, которые покинули свои поместья и давным-давно не занимаются землей. Грамота повелевала стольнику и воеводе Ергольскому послать в те поместья своего человека, дабы «...сыскать всякими сыски, накрепко, по святой непорочной Евангельской заповеди господней... Да буде в сыску скажут многие люди, что мецняне (имя рек), покиня свои мценские поместья, в разные украинные городы безвестно сошли, а мценские их поместья ныне лежат порозжи, в поместье кому не отказаны и спору не будет, и ты б в тех поместьях велел ему переписать места дворовые, и пашню, и сено, и лес, и всякие угодья, а переписав, да те поместья, а в них пашни сто две чети без четверика в поле, а в дву

по тому ж, велел отказать мецнянину Якову Савельеву сыну Бунину в его оклад в триста пятьдесят чей...»<sup>25</sup>

Документы, — теперь уже почти 270-летней давности, — разысканные и представленные отставным капитаном Иваном Буниным и провинциальным секретарем Матвеем Буниным, свидетельствовали о существовании третьей бунинской ветви, особой от Буниных белёвских и ряжских. То, что она была особой, можно утверждать с уверенностью: Яков Савельевич был современником тех белёвских и ряжских Буниных, которые при царе Федоре подавали поколенные росписи в Палату родословных дел, и если бы он и его отец Савелий принадлежали к какой-нибудь из этих линий — их имена обязательно были бы упомянуты в уже известных нам росписях.

Для отличия будем считать эту третью ветвь Буниных мценскими, — по Мценскому уезду, где находились земельные владения Якова Савельевича, впоследствии перешедшие к его наследникам.

Бумаги мценских Буниных, которыми они претендовали на дворянство, начинали их родословие с совсем не далекой от них поры, — с эпохи Петра I, но совершенно несомненно, что за Яковым Савельевичем и за отцом его Савелием, оставшимся для его потомков екатерининского времени даже без отчества, неизвестною им фигурой, — череда поколений такая же длинная, как в родственных белёвской и ряжской бунинских линиях, так же протянувшаяся сквозь царствования и века. Ряжск, Белёв, Мценск — одной судьбой жили эти близкие друг к другу города, одно и то же солнце светило им, одни и те же исторические грозы проходили по их небосводам, и поэтому несомненно, что в своих жизненных обстоятельствах, деятельности, судьбах мценские Бунины, предшественники Савелия и далекие предки писателя И. А. Бунина, имена и историю которых еще предстоит выяснить, во многом были схожи со своими сородичами — Буниными белёвскими и ряжскими, во многом повторяли их биографии. Так же, как те, — мценские Бунины, тоже начавшись где-то там, «во дни великого князя Василия Васильевича всея Руси», а может быть и еще раньше, — установить это, наверное, уже не дано, — на зна-

чительном протяжении русской истории были активными ее участниками и делателями; не поднимаясь слишком высоко по ступеням власти, они точно так же в массе среднего и мелкого служилого люда творили черновой и потому самый тяжкий труд государственного строительства с его главной заботой, всенародной заботой нескольких веков — об обороне родной земли от посягательств иноземных врагов.

Вспомним, чем были когда-то этот край, что вокруг Белёва, Мценска, Рязска, Кром, Ливен, Ельца, таких теперь мирных провинциальных городов, та территория, что простирается далее к югу. В пору, когда жили и действовали упоминаемые в архивных записях Бунины, здесь пролегла необозначенная южная граница Московского государства. Чуть ли не до конца XVII столетия это была арена непрерывной борьбы с непрерывными набегами нагайских орд, крымских татар, которые тысячными конными отрядами стремительно проникали далеко на север, в русские пределы, для грабежа и разбоя, выжигали дотла селения, города, захватывали имущество, скот, а жителей угоняли с собою, чтобы затем на невольничьих рынках Крыма продать, как рабов, в чужие страны.

Русский землепашец на территории нынешних Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской областей пахал тогда свое поле, а в борозде наготове лежало его оружие — острая сабля, копье, и сам он, работая, зорко поглядывал по сторонам: не замаячат ли в отдалении верховые в остроконечных татарских шапках, с колчанами стрел за спиной, с мотками ремennых веревок у седла — чтобы вязать русских пленников.

Никто никогда не подсчитывал, в какую кровь, в какие жертвы обошлись русской земле эти многовековые разбойные нападения воинственных южных соседей. Вѣлика бы, наверное, вышла эта цифра!

Даже когда русская граница уже далеко продвинулась в сторону степи, «дикого поля», как тогда называлось равнинное пространство до самого Приазовья и Причерноморья, набеги татар не стали редкостью. Уже стояли на Ворскле, на Тихой Сосне, на Северском Донце построенные из крепких бревен города-крепости с сильными конными и пешими гарнизонами, с пушками, стрелявшими ядрами и картечью, а татары все

равно исхитрялись прорываться сквозь русские оборонительные рубежи, и случалось, что и близкие к Москве города опять, как не раз прежде, становились их добычей, испытывали на себе их ярость, страдали от их бесчинств.

Достаточно нескольких фактов, бегло выхваченных из обширной статистики, чтобы почувствовать ту непрерывную опасность, в которой жили русские украинские города, их население, первые пахари степных целинных просторов, с сотворения мира лежавших нетронутыми, без пользы для человека. В 1643 году на курские места татары за три с половиною летних месяца сделали девятнадцать опустошительных набегов. В 1644 году — восемь. 1 сентября 1658 года несколько сот татар пытались прорваться в Воронежский уезд по мосту через речку Усмань у села Усмань-Собакина. Усманские атаманы совместно с драгунами Орлова-городка самостоятельно отбили эту попытку. 7 сентября эти же татары, обозленные неудачей, сопротивлением, разломали надолбы и ворвались в село Решное и деревню Придачу. Отпор жителей повернул их назад, но все же они увели в полон 21 человека. 8 августа 1660 года произошел ожесточенный бой на земляном валу севернее города Усмани между усманскими служилыми людьми и татарами.

Только в последующие десятилетия XVII века русское государство смогло обезопасить себя от вторжения крымцев, доведя число пограничных крепостей до трех десятков и создав из них при помощи рвов, насыпных валов и палисадов из врытых в землю заостренных бревен единую непрерывную защитную линию 800-километровой длины, получившую название Белгородской черты.

Иван Афанасьевич из рода белёвских Буниных строил город-крепость Чернаву. Брат его Никита Афанасьевич был воеводой в Обояни. Дядя их Данила Тимофеевич убит под Кромами, отражая штурм; другой их дядька Иван Тимофеевич служил воеводой в Лихвине. Из рода ряжских Буниных Леонтий Клементьевич за свою долгую ратную службу побывал не в одной схватке с татарами, защищая южнорусскую границу. С конным отрядом он охранял броды на Польном Воронеже, на натопанной татарами Ногайской дороге,

был воеводой в Костёнке<sup>26</sup>, южнее Воронежа, потом в Ольшанске<sup>27</sup>, за Острогожском, — на Кальмиусской дороге, на другом излюбленном татарами пути, который выводил их к Ельцу, Ефремову, Ливнам...

Когда-нибудь, — сохраним эту надежду, — разыщутся конкретные следы участия в жестокой, нескончаемо долго продолжавшейся борьбе с крымскими ордами и мценских Буниных, прямых предков писателя. Но уже сейчас налицо все основания думать, с благодарным к ним чувством за все ими совершенное, что и их доля ратного труда, мужества, самоотвержения, крови, внесенная в общенациональное дело, была такой же щедрой и такой же значительной.

## 7

Рассмотрение предъявленных Иваном и Матвеем Буниными бумаг кончилось постановлением, что Орловское дворянское депутатское собрание «род господ Буниных считает с 706 года по сие время в дворянском достоинстве, менее ста лет состоящим... а посему их, господ капитана Ивана Федоровича и провинциального секретаря Матвея Дмитриевича Буниных... внести сей губернии в дворянскую родословную книгу в первую часть и дать им обоим за подписанием сего собрания жалованные грамоты»<sup>28</sup>.

Итак, в 1792 году при «генеральной всероссийской перерегистрации» дворян доказательств у предков писателя достало только на то, чтобы попасть в первую часть родословной книги.

Забегая вперед, — чтобы не возвращаться к вопросу о месте Буниных мценской линии в родословных книгах, — скажем, что, основываясь на доказательствах, разысканных Иваном и Матвеем Буниными, а также на факте утверждения их в дворянстве, в близкие и последующие годы добивались дворянского звания другие Бунины, состоящие с ними в том или ином родстве. 9 сентября 1804 года получил дворянскую грамоту прадед писателя помещик Елецкого уезда титулярный советник Дмитрий Семенович Бунин, и при получении был внесен тоже в первую часть родословной книги Орловской губернии<sup>29</sup>.

Только в 1843 году после нового рассмотрения де-

ла о дворянстве Буниных Герольдия нашла возможным считать доказательства превышающими сто лет, и тогда же потомки Якова Савельевича Бунина, в том числе и дед писателя Николай Дмитриевич со своими детьми — сыновьями Николаем, Алексеем (отцом писателя), дочерью Варварою, были перенесены из первой в шестую часть <sup>30</sup>.

## 8

Кроме того, что уже рассказано о Якове Савельевиче, мало что еще можно извлечь о нем из бунинских родовых документов. Это понятно: Иван и Матвей Бунины не составляли его жизнеописания, их цель была узкой: доказать только то, что предок их вел «благородную» жизнь, владел поместьями. Основное имение его находилось, как уже сказано, в Мценском уезде, а точнее — в деревнях Завалишино, под Становым лесом, Нижние и Верхние Прилепы на речке Алешне, да по известному нам челобитью, поданному Петру I, ему было прибавлено землицы вблизи деревень Бабий Скок, Прокино Селище и Старой Выскребенцовой. В 1722 году 13 апреля, как рассказывает о нем короткий документ, что назван «пашпортом», «по осмотру Правительствующего Сената московский дворянин Иаков Савельев сын Бунин» был «написан в валовой <sup>31</sup> список и отпущен в дом по-прежнему» <sup>32</sup>.

Военно-служилое сословие и раньше не могло сказать о себе, что ему вольготно живется: бремя, лежавшее на нем, было нелегким. Службу несли пожизненно, отказ от нее, неисправное ее исполнение означали возврат земли — источника существования для всего семейства. Служилые люди были прикреплены к службе почти так же, как были «крепки» земле крестьяне, что обрабатывали землю в их поместьях и своим трудом, а также платя оброк, содействовали тому, чтобы владельцы земли, постепенно распространившие право собственности и на крестьян, могли исполнять свои обязанности в войске московских государей, на административных и иных постах.

Петр I еще более увеличил обязанности служилого сословия, сделал их еще более непременными и еще суровее стал наказывать за уклонение от службы. Царь,

первый в истории русской самодержавной власти смотревший на эту власть как на должность, на которой он обязан трудиться для блага вверенного ему государства, изнемогавший под тяжестью взваленных на себя дел, хотел, чтобы так же истово трудились и все его соотечественники, в том числе и первые помощники его власти, для которых в русском языке в его пору еще не было общего названия и которых он не совсем удачно, по увлечению всем иностранным, хотел наименовать «шляхетством». Слово это не прижилось, укоренилось русское — дворянство.

Еще в самом начале своего царствования — в 1701 году — одним из указов Петр подчеркнул обязательность для землевладельцев труда на пользу государства, на общую пользу: «Все служилые люди с земли службу служат, а даром землями никто не владеет». Создав регулярное войско взамен того сезонного, которое было в России прежде, когда служилые люди — если, конечно, не было войны — проводили зимнюю часть года по домам, в своих поместьях, за хозяйственными делами, и только с весны собирались на определенный период, обычно до осени, в воинские отряды, для охраны границ и противодействий неприятелю, если бы вздумалось тому напасть, — царь Петр Алексеевич не только оставил службу такой же обязательной и пожизненно-бессрочной, какой была она прежде, но еще сделал ее и постоянной. Военная служба дворян начиналась с 15-летнего возраста и непременно в рядовых. Указ 1714 года категорически запрещал производить в офицеры «из дворянских пород, которые не служили солдатами гвардии и не знают с фундамента солдатского дела». Закон этот исполнялся буквально. Царь зачастую сам разбирал дворянских недорослей «знатных самых персон», определяя, кому где служить или где и чему учиться. В драгунском «лейбрегименте, состоявшем исключительно из «шляхетских детей», числилось до 30 рядовых из князей; в Петербурге нередко можно было видеть на карауле с ружьем на плече какого-нибудь князя Голицына или Гагарина. Дворянин-гвардеец жил, как солдат, в полковой казарме, получал солдатский паек и исполнял все работы рядового»<sup>33</sup>.

Чтобы иметь точную статистику «дворянского за-

паса», чтобы и те, кто уже порядочно прослужил, постоянно были в служебной готовности, дворянских недорослей и взрослых дворян периодически вызывали на смотры. Уклонение от службы, от смотров — «нетство» — Петр жестоко преследовал. Особой беспощадностью к «нетчикам» отличался указ от 11 января 1722 года: «Кто не явится к сроку на смотр или на службу, таковые будут ошельмованы и с добрыми людьми ни в какое дело причтены быть не могут...» Нетчик объявлялся равным изменнику; кто такого нетчика поймает или приведет — получал половину его движимого и недвижимого имения, хотя бы сделал это крепостной крестьянин со своим господином.

Московский смотр дворянам весной 1722 года, потребовавший присутствия Якова Савельевича Бунина, надо полагать, был следствием этого строгого указа Петра, разгневанного стремлением части дворян отсидеться по своим усадьбам, избежать трудностей и опасностей военно-походной жизни.

Московское дворянство, в котором числился Яков Бунин, издавна представляло отборное, самое надежное войско московских государей. Начало ему положил Иван Грозный, который в 1550 году приказал «испоместить» вблизи Москвы тысячу детей боярских и лучших слуг. Позднее состав московской гвардии пополнялся потомками этих выборных слуг, а также дворянским «выбором» из городов. В звание московского дворянина жаловали за раны и пролитую кровь, за подвиги на поле сражения, за «полонное терпение», за смерть в бою отца или родственника.

Петр отличал московские «чины» от остального дворянства, называя в официальных актах служащих по московскому списку «царедворцами». В случае войны столичное дворянство составляло собственный полк царя, первый корпус армии. Отдельных, наиболее способных людей назначали командирами провинциальных дворянских батальонов. За свою службу, отмеченную повышенной ответственностью и повышенными требованиями, столичное дворянство пользовалось сравнительно с провинциальным более высокими окладами денежного жалованья и более крупными поместьями дачами. Дворяне столицы в силу своего положения, близости к царскому двору, были хорошо-



знакомы с общественными делами, обладали навыками в руководстве, в обращении с людьми низших сословий. На государственную службу они смотрели, как на свое общественное назначение, сословное призвание. Такой взгляд, присущий большей части московских «чинов», такое понимание ими своей роли оказались полезными для претворения на практике петровских реформ: из среды московских «царедворцев» выдвинулось немало талантливых администраторов, военачальников, деятельных пособников Петра в разных сферах и на разных этажах государственного строительства.

## 9

Яков Савельевич Бунин, прапращур писателя, умер 28 марта 1735 года. У него остались жена Аксинья Андреевна и четверо сыновей: Иван, Дмитрий, Федор и Яков. Полностью Яков Савельевич так и не получил те 350 четвертей земли, которыми был верстан; к моменту смерти у него вместе с прикупленными за деньги было только 203 четверти. При дележе наследства 30 четвертей было оставлено за вдовою Аксиньей Андреевной, остальную землю разделили сыновья.

Россия после смерти Петра напоминала корабль, который потерял цель своего движения, не знает, куда плыть, и на котором без капитана все досадно разладилось, пришло в расстройство. Уничтожив бывший до него порядок престолонаследия, Петр собирался сам назначить преемника своей власти, но из-за внезапной смерти не успел этого сделать. «Отдайте все...» — написала на смертном одре его слабеющая рука, но что хотел он дальше выразить, каким должно было быть его завещание, написать это он уже не успел. Среди государственных людей, составлявших близкое окружение Петра, сильных и деятельных, но лишь под водительством его ума и воли, не нашлось продолжателей его дел. «Не хочу гулять по морю, как дедушка», — эти слова нового императора Петра II были не просто капризной примасой малосмыслящего ребенка, в них выразилось нечто гораздо большее, — общее настроение государственных верхов, отказ от курса, начертанного для России в деятельности Петра.

За 37 последующих лет с 1725 по 1762 год на вершине российской государственной власти сменилось пять фигур, и все эти правители были случайными баловнями удачи, вознесенными наверх игрою обстоятельств, интригами придворных партий, путем дворцовых переворотов.

Главной участницей этих переворотов, главной силой, свергавшей старых и возводившей на престол новых царей, была дворцовая гвардия, гвардейские полки, состоявшие сплошь из дворян. Благодаря этой роли и у всего дворянства в целом установился особый взгляд на свое значение в государстве — взгляд, какого не было прежде. Своею волей и силой своего оружия «сделавшее» за такой короткий срок столько царей и цариц, дворянство все более укреплялось в мысли, что только оно — единственное правомочное сословие в государстве, обладающее гражданскими и политическими правами, остальное же население — это всего лишь управляемая и трудящаяся масса, «живой государственный инвентарь». Сосредоточив в своих руках огромные земельные богатства, владея ими, как собственностью, которую можно продать, наследовать, завещать, дарить, владея тремя с половиною миллионами крепостных крестьян, обращенных в такую же полную собственность, как и земля, научившись изворотливо, хитрыми уловками обходить законы, призывавшие на государственную службу, дворянское сословие, по логике своего обеспеченного положения, стремилось полностью отрешиться от какого бы то ни было личного труда, сбросить ненавистную тягость обязательной службы.

Дух властности, паразитизма, физическая и умственная лень, развивавшиеся в массе дворянства с увеличением обеспеченности, ростом богатства, скопившегося в руках, неотвратимо и неизбежно брали верх над всем другим человеческим, намертво заглушая разум, совесть, требования гражданского долга.

Стремление дворянства засесть по своим усадьбам, из военно-служилых людей превратиться в землевладельцев — во многом устраивало правительство. Военная служба стала уже не столь нужной благодаря затишью, наступившему в Западной Европе после окончания Северной войны. Имея же в деревнях в ли-

це помещиков верных себе слуг, верную свою опору, ревностных исполнителей правительственной воли, передавая в ведение поместного дворянства полицейско-судебные полномочия, которые никто бы не стал исполнять лучше самих помещиков, ибо это прямо и непосредственно связывалось с их личными экономическими интересами, правительство надеялось обеспечить более исправное поступление в пустую казну подушных податей с крестьян, чем происходило это при многого рода сборщиках.

В конце концов стремление имущего командного класса поставить себя в наивозможно выгодное и удобное положение, а правительства — еще крепче, вернее укрепить надетое на шею трудового народа ярмо, вылилось в манифест 1762 года, делавший дворян свободными от обязательной службы. Дворянам была дарована так называемая «вольность».

Основным содержанием существования и деятельности дворян-помещиков на целых сто лет вперед, до падения крепостного права, стало крепостничество со всем тем отталкивающим, уродливо-безобразным, что включало в себя это явление, беззастенчивое, бесстыдное паразитирование на обездоленном, закабаленном народе, только еще вчера выделившим из своей среды большинство взбравшихся на его плечи господ.

«Образовался худший вид крепостной неволи, какой знала Европа, — так оценивал этот период историк В. О. Ключевский, — прикрепление к лицу владельца, т. е. к чистому произволу. Так, в то время, когда наше крепостное право лишилось исторического оправдания — в это время у нас началось усиленное его укрепление. Оно шло с обеих сторон, правительственной и дворянской. Правительство, прежде взыскательное к дворянам, как обязанным своим слугам, теперь старалось щадить их, как своих вольных агентов, командированных в их же деревни для поддержания порядка»<sup>34</sup>.

Но пока время медленно двигалось к этому переломному моменту, после которого служить или не служить определялось уже одним лишь желанием, личной волей, а владение собственностью, эксплуатация крепостного труда, утратив, повторим это, всякое историческое оправдание, стали, по выражению того

же Ключевского, «следствием, лишившимся своей причины», — множество лиц дворянского звания, поскольку военная служба была тяжела, связана с отрывом от семей, дома, устремилось в службу статскую, во всевозможные канцелярии, густо расплодившиеся после попыток Петра улучшить административное управление. К тому же и выгода служить в правительственных канцеляриях была очевидна, заключала в себе немалый соблазн для небогатого провинциального дворянства: несмотря на меры, принимаемые верховной властью для сдерживания лихоимства чиновников, — стяжательство, незаконные поборы с населения, взяточничество, прямые хищения казенных средств по давней неискоренимой привычке смотреть на должность, как на кормление, как на добычу, пышно и почти что открыто процветали повсюду.

## 10

Иван, сын Якова Савельевича, почти не оставил о себе сведений. Всего-то и известно, что имя его жены было Прасковья, и, по-видимому, поприще его было военным, потому что в судебных делах Елецкого уездного суда его жена называется поручицей. В 1764 году он был еще жив.

Но биографии его братьев, других сыновей Якова Савельевича — Дмитрия, Федора и Якова, проследить можно более обстоятельно. Все трое провели свой век в невысоком, но, как видно, вполне их устраивавшем чиновничестве.

Начнем с Дмитрия. Год рождения неизвестен, умер же он где-то около 1764 года. Жену его звали Еленой. В делах Воронежского областного государственного архива сохранился патент на чин, данный ему из Орловской провинциальной канцелярии<sup>35</sup>. Текст говорит, что он, Дмитрий Бунин, из шляхетства, «с прошлого 1722 года был при Орловской бывшей земской конторе, а ныне при Орловской провинциальной канцелярии при отправлении ея императорского величества интересных и челобитчиковых дел собственным своим помыслом<sup>36</sup> по должности канцелярской; действительно того ради за оные его показанные приказные труды определен он, Бунин, в канцеляристы, в чем он, Бу-

нин, и к присяге приведен, и для того ему, Бунину, на оный новопожалованный его чин дан сей указ за подписанием и за печатью Орловской провинциальной канцелярии 1735 году ноября 15 дня».

Дата рождения Якова Яковлевича Бунина тоже пока не установлена; умер он гораздо раньше остальных своих братьев — в 1749 году. Служил Яков Бунин в Государственной вотчинной коллегии<sup>37</sup> тоже на должности канцеляриста. Поскольку коллегия помещалась в Москве, можно заключить, что и жизнь свою Яков Бунин прожил в Москве, бывая во мценских местах, где находилось имение родителей и доставшаяся ему по наследству часть, лишь временами, наездами.

Женою и детьми Яков Бунин не обзавелся, поэтому незадолго до смерти он составил такое прошение: «Имею я, именованный, за собою недвижимое имение во Мценском уезде в Большом городском стану в деревне Прилепах, которое за мною после отца моего Якова Савельевича Бунина справлено и отказано, да в Новосильском уезде купленную землю, а детей у себя, как сыновей, так и дочерей, не имею...»

Челобитную свою Яков Бунин подал в Вотчинную коллегию, в которой сам же служил, и рассматривать ее, принимать по ней решение должны были его же сослуживцы, но написана она была, как требовала того форма, на имя императрицы Елизаветы Петровны.

«...И оное недвижимое свое имение, не оставляя за собою ни единыя четверти и четверика, с людьми и со крестьяны отдаю племяннику своему родному канцеляристу Василию Дмитриеву сыну Бунину, а по смерть мою тем недвижимым имением и людьми и крестьяны владеть буду сам...»<sup>38</sup>

Из четырех сыновей Якова Савельевича для нашей темы наиболее интересен Федор Яковлевич, ибо И. А. Бунину он доводится пращуром.

Жена его Дарья Гавриловна происходила из рода Шеншиных. Старинный этот род был таким же обширным и разветвленным, как бунинский. Шеншины во множестве встречаются среди дворян Орловской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Санкт-Петербургской губерний. К роду Шеншиных принадлежит известный русский поэт-лирик Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892).

Служил Федор Бунин при Елецкой провинциальной канцелярии секретарем. Вот текст указа о награждении его чином, — документ этот ценен не только тем, что содержит сведения о служебной карьере Федора Яковлевича, он еще любопытен как образчик тогдашнего слога, той высокопарно-риторической, официальной формы, что в елизаветинское время стереотипно повторялась в каждом свидетельстве о производстве в военный или статский чин петровской четырнадцатиклассной табели о рангах: «Божиею милостию мы, Елисовет Первая, императрица и самодержица Всероссийская и прочая, и прочая, и прочая. Известно да ведомо будет каждому, что мы Федора Бунина, который нам коллежским регистратором служил, для его оказанной к службе нашей ревности и прилежности в наши провинциальные секретари в ранг сухопутного подпоручика тысяча седьм сот пятьдесят осьмого года генваря девятого на десять дня всемилостивейше пожаловали и учредили, якож мы сим жалуем и учреждаем, повелевая всем нашим подданным оного Федора Бунина провинциальным секретарем в ранге сухопутного подпоручика надлежащим образом признавать и почитать, напротив чего и мы надеемся, что он в сем ему от нас всемилостивейше пожалованном чине так верно и прилежно поступать будет, как то верному и доброму рабу надлежит. Во свидетельство того мы сие нашему Правительствующему Сенату подписать и государственною нашею печатью укрепить повелели»<sup>39</sup>.

В документах 1779 года Федор Бунин именуется губернским секретарем.

## 11

Только двое сыновей Якова Савельевича имели потомство: Дмитрий и Федор.

У Дмитрия были две дочери — Ксения и Федосья, пасынок Александр, служивший в коллежских секретарях, сыновья — Матвей, родившийся в 1752 году, и Василий, тот, которому родной его дядя Яков Яковлевич отказал в 1749 году свое земельное владение.

Матвей Дмитриевич, один из авторов уже знакомого читателю прошения об утверждении в дворянстве, написанного в 1792 году и составившего основание

фонда родовой документалистики для всех последующих Буниных, имел чин провинциального секретаря, служил в Орловской казенной палате. Женат он был на Марье Архиповне Горбатовой (р. 1760), у них была дочь Настасья. Сыновей, как говорится, бог им не дал, поэтому дальнейшего движения бунинской фамилии через Матвея Дмитриевича не последовало. Во Мценской округе ему принадлежало доставшееся по наследству село Дмитриевское с 39 крестьянами мужского пола и 43 женского, в Дешкинской округе — деревня Сотникова. В Малоархангельской округе он купил село Богородицкое.

Василий Дмитриевич Бунин по служебной лестнице поднялся довольно высоко: служил в Правительствующем Сенате секретарем, достиг чина коллежского асессора (в 1763 году). Это был чин 8 класса, равный майору; всякий, кто в статской службе достигал этого класса, по закону, изданному Петром 24 января 1722 года, независимо от происхождения получал право на потомственное дворянство.

## 12

Федор Яковлевич Бунин имел трех сыновей: Петра, — по-видимому, умершего рано или даже еще во младенчестве, так как, кроме упоминания о том, что он был, в семейных документах больше никаких других следов его существования не присутствует, — Ивана и Семена.

Иван Федорович Бунин, родившийся в 1745 году, женатый на Анне Ивановне Кириловой (р. 1758), в поколении Буниных, к которому принадлежал, был личностью с наиболее богатой биографией. Имения его не отличались размерами: в селе Аннино (Польское) Елецкой округи в его владении было 6 крестьянских дворов и 4 двора было за его женою. Там же в Аннино стоял их дом, как у большинства окрестных помещиков — деревянный, под соломенной крышей, похожий на обыкновенную крестьянскую избу. Еще за Иваном Федоровичем была наследственная часть села Нижние Прилепы Мценской округи. В пятнадцатилетнем возрасте Иван Бунин вступил в военную службу. Большая часть ее прошла в Ингерманландском пехотном полку. В 1769 году был отправлен на войну с «Туре-

цией», находился в первой армии генерал-фельдмаршала графа Петра Александровича Румянцева, участвовал во взятии крепости Хотин<sup>40</sup>. В указе об отставке с награждением капитанским чином за беспорочную службу записано, что Иван Бунин «в штрафах не бывал и к повышению достоин», «за крайними и необходимыми домашними нуждами отпущен в дом на свое пропитание».

Вернувшись с военной службы, капитан Бунин занимался не только сельским хозяйством. Натура, видно по всему, была у него деятельная, энергичная, возраст — в самой зрелой поре, и покоритель Хотина не сидел дома, как многие другие соседи-помещики: несколько лет подряд исполнял служебные обязанности в Елецком уездном суде. Судейская деятельность капитана Бунина кончилась тем, что по жалобе арендатора какой-то мельницы, недовольного, что суд решил дело не в его пользу, Бунин в 1788 году вместе с другими заседателями сам попал под суд по обвинению в неправильном толковании законов.

Судебное разбирательство происходило в Орле, в Палате уголовного суда, куда были вызваны все обвиняемые. Протоколист проворно строчил пером, записывая вопросы, с которыми суд обращался к елецким заседателям, ставшими подследственными, их ответы, объясняющие, как решали дело об аренде мельницы. Чиновники присутственных мест не жалели чернил и бумаги. Объяснения составили претолстый том в несколько сот страниц<sup>41</sup>. Они сохранили не только суть, обстоятельства одного конкретного спорного дела, судебную практику, какой она была в век Екатерины, но и бездну бытовых деталей, характерных житейских черточек далекого времени. Так как записывалось с голоса, в зале заседаний, близко к тому, как говорилось, — листая страницы, почти слышишь, точно с магнитофонной ленты, давным-давно умолкшие голоса действующих лиц.

Служба отвлекала от усадьбы, да и сельским хозяйством, надо думать, капитан Бунин не был удачливым: на склоне лет его имущественное положение оказалось совсем худым. Чтобы покрыть накопившиеся долги, капитан Бунин в 1789 году продал имение в сельце Польском секунд-майорше Ольге Бегичевой за



Гуники Мухомовы Иоанъ Савельевичъ

Иванъ Дмитрий Федоръ Иоанъ

Василий Илья Савелъ Иванъ Петръ  
 Александръ  
 Ксения  
 Федосья

Настасья Никифоръ Дмитрий Григоръ

Варвара Александръ Николай Григоръ Владимиръ Олимпиада  
 Петръ  
 Семенъ  
 Аполлонъ  
 Анна  
 Вера

Владимиръ Варвара Николай Александръ Варвара Анна Олимпиада  
 Федоръ Николай Александръ  
 Григоръ  
 Ксения  
 Мария  
 Анна  
 Александра  
 Григоръ

Константинъ Софья Петръ Илья Евдокимъ Иванъ Мария Людмила  
 Иванъ  
 Надежда  
 Николай  
 Александръ  
 Анна  
 Антонина  
 Александръ  
 Алексей

Иванъ Дмитрий Николай Петръ Николай Евдокимъ Людмила

тысячу рублей. В 1796 году капитан Бунин и жена его Анна Ивановна предприняли попытку заложить в казну имение в Нижних Прилепах и сельцо Аннино, находившееся в совместном супружеском владении. Очевидно, опасаясь, что капитан доведет свои поместья до полного разорения и оставит ее ни с чем, Анна Ивановна в 1799 году заставила супруга дарственным актом перевести на ее имя большую часть еще остававшихся у него крестьян.

Умер Иван Федорович Бунин уже в семидесятилетнем возрасте, где-то около 1816 года...

### 13

Семен Федорович Бунин, прапрадед писателя, родившийся в 1735 году, женатый на Анисье Никифоровне, как уже многие к тому времени в роду Буниных, провел жизнь в чиновниках: служил секретарем Государственной Вотчинной коллегии. Жительствовал в Москве, деревенским хозяйством сам не занимался, но не отказывался от случая увеличить свою земельную собственность. К нему перешла та часть из владений Якова Савельевича в деревне Нижние Прилепы Мценского уезда, что оставалась у Аксины Андреевны, родной бабки Семена Бунина. В 1766 году Семен Федорович купил у двоюродного брата Василия Дмитриевича землю, что оставил ему в дар бездетный Яков Яковлевич. Принесла кое-что и Анисья Никифоровна: она была не из бедной семьи, за ней дали хорошее приданое. В городе Новосиле у нее был дом, в Новосильской округе — земля.

Семен Федорович Бунин имел двух сыновей — Никифора и Дмитрия и дочь Аграфену.

Судьба Аграфены сложилась самым обычным для женщин ее среды образом: она вышла замуж за коллежского асессора Баева, прожила жизнь в сельце Польском, занимаясь детьми, усадебным хозяйством.

Никифор, поскольку ради положения в обществе считалось необходимым хоть где-то послужить, приобрести хоть какой-нибудь, но все же чин, выбрал военную службу, но далеко в ней не продвинулся, вышел в отставку всего лишь подпоручиком и представлял собою типичного мелкого российского помещика.

Усадьба его находилась в Озерках и вместе с принадлежащими Никифору 8-ю крестьянскими дворами носила название Покровского. Жизнь обитателей таких скудных усадеб вращалась в тесном кругу, во всем повторяя то, что было у близких и дальних соседей-дворян. Долгие скучные будни с надоевшими хозяйственными заботами, бранью на мужиков, поездками в поле, без новых лиц, свежих вестей извне, сменялись уснащенными обильной едой и питьем праздниками, с гостями, приглашенными ради сплетен и пересудов, развлечениями охотой. Чем-то вроде развлечений, разгонявших усадебную скуку, дремоту однообразного волочения дней, были и мелкие ссоры, распри с соседями — из-за скошенной их крестьянами травы, унесенной из рощи вязанки дров. Время от времени на ровной глади памяти оставались и приметные вехи: поездки за покупками и по делам в уездный город, отстоящий от усадьбы на огромное расстояние в тридцать или сорок верст...

Одно из сохранившихся в Орловском архиве судебных дел, имеющее несколько комическую окраску, рисует Никифора Бунина как человека вспыльчивого, горячего, несдержанного в гневе.

«Всепресветлейший, державнейший, великий государь император Павел Петрович, самодержец все-российский, государь всемилостивейший!»

Таким воплем оскорбленной души, взывающей не о чьем-либо, — о царском заступничестве, начинается это дело. Жалуется канцелярист Елецкого уездного суда Антон Александров:

«Сего апреля 1 числа (1799 года. — Ю. Г.) после половины дня по примечанию часу в третьем во время дежурства моего, войдя в приказную уездного суда комнату (где я отправлял препорученную мне должность), елецкий помещик подпорутчик Никифор Семенов сын Бунин, нападая на меня безо всякой оказанной мне ему причины, при отправлении мною должности и в помешательстве исправления оной с великим азартным криком ругал меня непристойными словами...»

Александров, конечно, хитрил: причины для громкого разговора наверняка имелись. Не было во всей России помещика, который бы не вел в местном суде

какого-либо процесса, а то и нескольких сразу, и при этом не был бы зол на судейские порядки и решения, на медлительность судопроизводства, привычку канцелярских служителей корыстоваться возле тяжущихся сторон.

Никифора Бунина вызвали на суд. Но он не явился. Дело распухало. Прибавлялись письменные показания свидетелей, переписка, обязывавшая наскандалившего подпоручика предстать перед судом.

Канцелярист Александров был порядочный крючок и, раз вцепившись, он уже не отпускал до победного конца. Весь свой богатый опыт по крючкотворной части, почерпнутый на службе в суде, он обратил в оружие против своего обидчика.

Борьба канцеляриста с подпоручиком обрывается вдруг, дойдя до точки наивысшего напряжения, в момент своего «кресчендо», — внезапным отказом самого Александрова от обвинения и прощением «оное дело производством оставить и предать вечному забвению»<sup>42</sup>.

Что же случилось с Александровым, отчего произошла такая перемена в его воинственном настроении? По-видимому, к примирению привела ассигнация, перекочевавшая в его руки из кармана подпоручика Никифора, убедившегося, что канцелярист не уgomонится, и решившего таким верным средством притушить скандал. Желание получить эту ассигнацию и составляло, по всей вероятности, с самого начала основу гражданского пафоса судейского канцеляриста...

## 14

Документы не называют дату смерти Семена Федоровича. По-видимому, это произошло до 1780 года, потому что в экономических примечаниях к планам генерального межевания имя его среди землевладельцев Елецкого уезда не упоминается, фигурируют только его дети и жена Анисья Никифоровна.

Анисья Никифоровна умерла около 1788 года. Сказать так можно потому, что в мае этого года между детьми состоялся раздел оставшегося от нее наследства, ее вдовьей, так называемой «указной» части<sup>43</sup>. Крестьяне и земля, ей принадлежавшие, находились

в сельце Семеновском и деревне Адоньевой, — так назывался еще один край сельца Польского, которое и ныне существует под этим же названием.

Семеновское, Каменка тож! Само название говорит о том, что главным хозяином этого сельца, а может быть, и основателем, был Семен Федорович Бунин. Позже, когда память о нем стала слабеть, части названия поменялись местами и сельцо стало зваться Каменкой, с прибавлением — Семеновское тож. Вот она — та самая бунинская Каменка, что упоминается в его биографии, что во множестве трансформаций отразилась в его произведениях, стала Суходолом в одноименной повести.

Каменка досталась братьям — подпоручику Никифору и Дмитрию Буниным. Было в ней всего 12 дворов с 52 крестьянами, 120 десятин пашни, 5 десятин сенных покосов, 2 десятины лесу<sup>44</sup>.

Подпоручик Никифор Семенович Бунин умер в 1813 году.

Право на владение принадлежавшей ему частью Каменки перешло к его сыну поручику Аполлону. И сейчас еще, как слабая память о нем, один из оврагов в окрестностях Каменки называется Аполлонов верх. Дети его от брака с дворянкой и местной помещицей Ульяной Федоровной — губернский секретарь Владимир, писец первого разряда Федор — составляли одно поколение с отцом И. А. Бунина. У Аполлона Никифоровича была еще дочь Александра, вышедшая замуж за канцеляриста Исаева.

## 15

Фигура Дмитрия Семеновича, прадеда, должна была рисоваться И. А. Бунину уже не как абстракция, туманная, бесплотная тень. Отцу писателя не пришлось видеть его живым, дед, который мог бы о нем поведать, умер задолго до рождения И. А. Бунина, но какие-то рассказы о Дмитрие Семеновиче, когда Бунин рос, несомненно, еще жили в семье, о нем еще можно было услышать из уст стариков крестьян, от знакомых в соседних усадьбах.

В молодости Дмитрий Семенович служил в гвардии каптенармусом в чине сержанта. Гвардейские звани-

ния превышали армейские на две ступени. В 1784 году Дмитрий Семенович был произведен «за оказанную ревность и прилежность в титулярные советники в ранге сухопутного капитана»<sup>45</sup>.

Выйдя в отставку, Дмитрий Семенович служил заседателем Елецкого нижнего земского суда. Когда в Орле разбиралась жалоба на капитана Ивана Бунина, приходившегося Дмитрию Семеновичу дядей, и на его сотоварищей, — рапорт из Ельца, подтверждавший получение указа, чтобы обвиняемые явились на суд, был отправлен за подписью «Дмитрея» Бунина.

В последние десятилетия XVIII века, в начальные годы XIX в Елецком уезде было уже довольно много Буниных одного корня, потомков Якова Савельевича, разделившихся на отдельные семьи.

Где-то вдали от елецких полей, затерянных в них Каменок, Озерок, происходили крупные события, давая направление судьбам целых народов, государств. Во Франции воздвигала свои баррикады Великая революция. Прикинувшись ее другом, рвался к вершинам власти Наполеон. В сыром Петербурге, глыбистым финским гранитом, казарменной прямизной проспектов олицетворявшем незыблемость державного порядка, приближалась к своему концу стареющая Екатерина. В гатчинском отдалении с плохо скрываемым нетерпением караулил свой час заждавшийся, издерганный неврастением Павел, и рядом с ним зловеще чернела, чтобы вскоре пасть на всю Россию, мрачная его тень — Аракчеев... Надеясь пробудить российские умы и души, толкнуть их к свободе, писал свою гневную книгу Радищев и потом, закованный в кандалы, ехал в сибирскую ссылку, в Илимский острог... В тайных переговорах европейских императоров, королей, министров, дипломатов складывались союзы государств, разделяя Европу на враждующие лагеря, немолимо приближая ее ко всеобщей войне...

Бунины, которым суждено было оказаться на беспокойном рубеже двух столетий, не вели дневниковых записей, хроник, не оставили мемуаров. Следы их существования, летопись их уездного быта, который и много позже, в эпоху железных дорог и телеграфных линий все еще был глухим, дремотным, замкнутым в себе, — это купчие, закладные, завещательные распо-

ряжения, акты о разделе имущества, всякого рода прошения. В елецких Каменках был свой мир, свои заботы, свои волнения и страсти. Едва ли здесь знали о Наполеоне до тех пор, пока он не вторгся в пределы России, политика переменной Австрии не волновала так, как волновали засуха, дождливая погода в пору уборки урожая, побег крепостных крестьян, провинности дворовых Степанид и Лушек, невозвращенные долги, споры о межах, о правах на свою наследственную долю, хотя бы она состояла всего-навсего из старого сломанного тарантаса...

## 16

В ту пору, когда были живы и несли свою службу рязжские и белёвские Бунины, будущие податели родословных, а мецнянин Яков Савельевич был еще юн и только готовился вступить в службу, — в апреле 1677 года «по государеву цареву и великого князя Фёдора Алексеевича» указу в Рязк был назначен новый осадный голова Богдан Трухачёв.

Широки и разнообразны были обязанности и полномочия осадного головы. По прибытии на место ему надлежало обревизовать пушки и всякий к ним припас, свинец и порох, все это переписать и «беречь накрепко». В рязжском гарнизоне ему надлежало быть командиром и судьёю над всеми воинскими людьми — «ведать пушкарей, и рассыльщиков, и приставов, и затинщиков, и воротников, и казенных кузнецов, и плотников, и дворников, как наперед сего ведали осадные головы», вменялось бдительно за всем смотреть, даже за тем, чтобы никто не держал подпольно «корчму и питье», — за это полагалось бить батогами и сажать в тюрьму; осадный голова отвечал за то, чтобы во избежание пожаров с Егорьева дня вешнего в городе и на посаде изб и «мылен» никто бы не топил, варить же еду и печь хлебы — только в особых печах на огородах и полях, «местах не близко хором», «чтоб по городу и по острогу приезжие всяких чинов люди, иноземцы не ходили и городовых и острожных крепостей не рассматривали, и валу и осыпи не отаптывали, и в ров сору никакого не метали». «А будет его небрежением, — предупреждал царский указ, — горо-

ду и городовому наряду и зелью и свинцу и всяким пушечным запасам какая порука учинится или учнет у кого посулы и поминки имать, ему, Богдану, от великого государя царя и великого князя Федора Алексеевича, всея Великия, и Малыя, и Белья России самодержца, быти в великой опале и в жестоком наказанье безо всякой пощады»<sup>46</sup>.

Сын Богдана Иван служил в поручиках на Белгородской черте в полку стольника и воеводы князя Якова Федоровича Долгорукова. При вступлении в военную службу ему был дан поместный новичный оклад в 250 четей и «денег с городом восемь рублей». За участие в походах против поляков (1679 и 1686 гг.), против крымцев (1687 и 1689 гг.) он получил прибавки землею и деньгами, так что в общем поместный оклад его составлял 580 четей, а денежное жалованье — 41 рубль. Это был большой служебный успех, редко кто удостоивался таких значительных наград.

Земля Ивану Трухачёву была отведена на правом берегу реки Воронеж, в районе нынешних сел Курино, Подгорное, Вертячье, Трухачёвка, основателем которой и был «рейтарского строя начальный человек» Иван Трухачёв.

Его сын Игнатий тоже с ранних лет находился на военной службе, на службе и умер — в звании вахмистра.

Никон Игнатьевич не отличался крепким здоровьем и для военного строя не сгодился. Но и он по силе своих возможностей служил: с 1752 года «по определению Воронежской губернской канцелярии в селе Лопатки Воронежского уезда смотрителем у описных домов бывших однодворцев».

Из двух сыновей Никона первый, Мина, служил в Воронежском драгунском полку и в 1765 году был произведен в прапорщики. Второму, Савве (род. в 1739 г.), выпала судьба значительно сложнее. Он начал службу в 1757 году в Куринском пехотном полку в звании капрала. Уже год, как в Европе шла из-за Силезии война между Пруссией и Англией на одной стороне, Австрией, Саксонией, Францией, Швецией и Россией — на другой, получившая в истории название Семилетней. Капралу Савве Трухачёву довелось проделывать нелегкие походы с русской армией под командо-



ванием графа Салтыкова, отправленной на помощь союзникам. 12 июля 1759 года он участвовал в сражении при Пальците, где русские войска отбили одну за другой три яростные атаки пруссаков, а русская кавалерия окончательно довершила разгром, обратив вражескую конницу в беспорядочное бегство. 1 августа разразилась битва у Кунерсдорфа, в трех верстах от Франкфурта-на-Одере. Прусской армией командовал сам Фридрих II и потерпел жестокое поражение: из 48 тысяч солдат у него осталось только 3 тысячи. Савва Трухачёв был ранен в голову пулей и надолго выбыл из строя для лечения. В 1761 году он снова в рядах армии, участвовал в сражении под городом Колбергом, где командовал граф П. А. Румянцев, будущий фельдмаршал, один из лучших полководцев екатерининской эпохи. В 1764 году Савва Трухачёв действовал с полком в Польше — «до самого истребления войск гетмана Вороницкого и князя Радзивилла и при взятии последнего в деревне Гавриловке всей пехоты в полон»<sup>47</sup>.

Чем было для человека того времени, при несусветной дальности тогдашних расстояний, вот это все, что выпало русским военным людям, солдатам и офицерам, участникам Семилетней войны: не в одну тысячу верст поход из России на театр военных действий, под самый Берлин, нескончаемо долгое пребывание за российскими рубежами, на чужой земле, среди неродной речи, обычаев, яростные битвы, после которых на поле оставались груды мертвых, окровавленных тел...

Видеть, испытать все это, сто раз быть рядом со смертью и уцелеть, хотя бы в шрамах, увечным и больным, но вернуться на родину... Одиссея, Колумбово плаванье!

Выйдя в декабре 1764 года в отставку в чине поручика, Савва Никонович воротился в свою крохотную Трухачёвку, поделенную с братом Миною, женился на Фекле Афанасьевне Измалковой.

23 мая 1769 года у него родилась дочь Александра, оставшаяся, поскольку никаких других детей у Саввы Никоновича не появилось, единственной наследницей всего его достояния.

Она стала женою Дмитрия Семеновича Бунина.

Со смертью тестя, а потом и Александры Саввиш-

ны, все то, что принадлежало им в Задонском и Землянском уездах, а также и то, что было за ними в Усманском уезде в деревнях Пашковой и Верхней Мосоловке, перешло в руки Дмитрия Семеновича.

## 17

Теперь бы его назвали многодетным отцом. У него было трое сыновей: Алексей, Николай, Владимир, и четыре дочери: Олимпиада, Ольга, Вера и Глафира — самая старшая из сестер.

Из сыновей старшим был Алексей (р. 1791 г.). Жене его, дочь прапорщика Мотякина<sup>48</sup>, звали Надеждой Васильевной. Венчание состоялось 2 июля 1816 года в соседнем с Трухачёвкой селе Вертячем, в тамошней Николаевской церкви. Из списка дворян Воронежской губернии<sup>49</sup>, можно узнать, что в службу Алексей Дмитриевич вступил очень рано, четырнадцатилетним, — 4 марта 1805 года, регистратором Воронежской палаты гражданского суда. В канун 1812 года получил чин губернского секретаря, а еще через год — в январе 1813 — уволился в отставку по болезни.

Среднего сына Дмитрия Семеновича — Николая Дмитриевича, нужно выделить особо, поскольку он приходится И. А. Бунину родным дедом.

Дата его рождения пока еще не отыскана, но, сопоставляя другие данные, можно думать, что будет близким к истине считать временем его рождения 1796—1798 годы.

Выше говорилось, что старший брат Алексей Дмитриевич восемь лет прослужил в Воронеже в Палате гражданского суда. Очевидно, он и оказал содействие Николаю Дмитриевичу определиться в эту же Палату на должность канцеляриста.

Поступить сразу на такую должность, даже при протекции, было нельзя, это противоречило правилам; следовало сначала послужить копиистом, писцом, затем подканцеляристом, т. е. помощником. Из того, что Николая Дмитриевича приняли сразу канцеляристом, видно, что ранее он год или два где-то уже служил.

В гражданский суд он поступил 23 января 1818 года, а через полгода — 20 июля — уже подал проше-

ние, в котором просил уволить для приискания службы в других присутственных местах и о «добропорядочном его поведении снабдить аттестатом и о свободном проезде и пребывании пашпортом»<sup>50</sup>.

Просьба Николая Дмитриевича была удовлетворена: от дел гражданской палаты его освободили и из губернского правления 18 октября 1818 года ему на руки был выдан паспорт за № 27 310.

Действительно ли Николай Дмитриевич хотел искать другое место или просто это было предлогом, чтобы оставить службу совсем? Можно думать и так, потому что еще в феврале 1818 года семейством Дмитрием Семеновича было подано прошение о разделе семейного имущества, и каждому из его наследников предстояло получить свою долю, стать независимым, самостоятельным землевладельцем. Дмитрий Семенович, предпринимая этот раздел, очевидно, чувствовал, что дни его продлятся недолго. Он и в самом деле умер вскоре после того, как состоялся раздел. В свидетельстве о дворянстве, данном Владимиру Дмитриевичу Бунину уездными дворянами и подтвержденном Задонским уездным судом 18 апреля 1819 года, Дмитрий Семенович назван уже «покойным»<sup>51</sup>.

В автобиографических заметках И. А. Бунина о Дмитрие Семеновиче сказано так: «Прадед мой по отцу был богат»<sup>52</sup>.

Акт о разделе имущества между его наследниками<sup>53</sup> довольно длинен, густо насыщен неуклюжими канцелярскими оборотами. Читать его полностью было бы долго и скучно. Познакомимся лишь с основным его содержанием. Из этого чрезвычайно ценного для изучения истории бунинской семьи документа отчетливо видно, чем именно и в каких местах располагал прадед И. А. Бунина, как разделились его владения, что досталось среднему сыну Николаю Дмитриевичу, и действительно ли, как утверждает И. А. Бунин<sup>54</sup>, деда «обделили» братья Алексей и Владимир.

## 18

В прошении о разделе имущества прежде всего полагалось назвать, чем и где владеет семья, решившая учинить раздел, и, следуя этому правилу, Дмитрий

Семенович указывает, что его земельные владения с крестьянами при них находятся во Мценской и Елецкой округах Орловской губернии, в Новосильском уезде Тульской губернии, в Задонском и Землянском уездах Воронежской губернии и в Усманском уезде Тамбовской губернии. Земельные угодья эти и крепостные крестьяне достались ему в основном по наследству: от деда Федора Яковлевича и бабки Дарьи Гавриловны, от умерших родителей, после покойного по матери двоюродного деда майора Афанасия Алексеевича Казакова, после жены Александры Саввишны и отца ее, для Дмитрия Семеновича — тестя, поручика Саввы Никоновича Трухачёва.

«И как оное наше наследственное и благоприобретенное имение остается поныне без раздела нашего, — говорилось в прошении, — а потому мы, поговоря между собою, расположились учинить всему тому имению раздел и представить тем в вечное и потомственное владение впредь бесповоротно за каждым всякого участок порознь с аккуратным ниже сего распределением».

Крестьяне, назначаемые каждому из братьев, перечислялись поименно.

Земельные дачи, которые получал старший сын Алексей Дмитриевич, находились в Задонском уезде — в селах Большой Мечек и Вертячье, Гремучее тож, — «...и к оному последнему селению отмежеванный за рекою Воронежем на Нагай стороне отвод», — в Воронежской Лозовке, в Курине и в деревнях Малая Лозовка, Подгорное, Малый Мечек и в сельце Трухачёвке. Ему доставались «450 десятин с лесы, с санными покосы и со всеми угодья. И в том сельце Трухачёвке господский дом со всеми при нем пристройками, и дворовых людей и крестьян разное строение с усадьбами господскими и крестьянскими, и со всем их имуществом, с двумя плодовитыми садами и пчельником, ветряною и водяною мельницами, с берегами по обе стороны речки Лозовки, и что на часть причтется строевой рощи, конопляники и огородники, огуменники, и в нем стоячим хлебом и в земле посеянном, да в Вертячем селе близ церкви плодовитый сад».

За Николаем Дмитриевичем акт закреплял «...Елецкой округи в сельцах Семеновском, Каменка тож, и в

Озерках с деревнями и пустошами 300 десятин, с лесы, с санными покосы и со всеми угодьи, да строевой лес, что на часть принадлежит; Усманской округи в сельце Верхней Мосоловке и деревне Пашковой 150 десятин — с лесы, с санными покосы и со всеми угодьи, строением, со скотом и со птицею, огуменником и в оном хлебом стоячим и в земле посеянном, выгоны, пруды, да в оном же сельце Семеновском, Каменка тож, господский дом с пристройками, и дворовых людей и крестьян разное строение и их имущества, скотный двор с разным скотом и с птицею, плодовых садов два, пчельник один, усадебники, выгоны, огородники и конопляники, огуменники и на оных разной хлеб стоячий и в земле посеянный, и с рыбными прудами».

Владимиру, вместе с таким же, что и братьям, количеством дворовых людей и крестьян, по акту отходили: в Землянском уезде Воронежской губернии сельцо Аленный Верх с господским домом<sup>55</sup> и 300 десятин земли — «с лесы, с санными покосы и со всеми угодьи», да в Усманском уезде Тамбовской губернии в сельце Верхней Мосоловке и деревне Пашковой 150 десятин — тоже «с лесы, с санными покосы» и т. д.

Себе — «по смерть свою» — Дмитрий Семенович оставлял имение с крестьянами, находившееся в Вышних и Нижних Прилепах Мценского уезда.

За Олимпиадою акт закреплял еще раньше купленное ею на родительский капитал небольшое имение в сельце Озерках Елецкого уезда, называвшееся Миропольское.

Ольга, как свидетельствует раздельный акт, тоже уже была наделена: для нее вблизи Озерок («в окружной меже») было куплено сто две десятины земли. В ревизских сказках хутор Ольги именуется Владычино, Бутырки тож. Господского дома на этой земле не было, поэтому братья Николай и Владимир обязывались выстроить для Ольги дом, а Алексей — сестре Вере в селе Вертячем, где ей принадлежало столько же десятин земли.

Акт упоминает и про «большую», то есть старшую сестру Глафиру, находившуюся замужем за поручиком Чапкиным. Жила она все в тех же Озерках, поместье ее именовалось «деревней Глафиоровской».

Это, по-видимому, была та самая усадьба, которая впоследствии, в 80-ые годы, досталась по наследству матери И. А. Бунина и была последней родовой усадьбой во владении бунинской семьи. Глафира Чапкина еще не получила полностью своей доли, и поэтому, в уравнивание ее части с частями сестер, братья обязывались выдать ей три тысячи рублей.

Условия имущественного раздела участники его клялись «хранить во всех отношениях свято и ненарушимо, без всякого изменения». Обращаясь к Задонскому уездному суду, они просили утвердить отдельный акт, как составленный «по доброй воле и согласию», и дать с него каждому за надлежащим свидетельством копию.

## 19

Приведенные из отдельного акта выдержки показывают, что каждый из братьев в смысле количества получил одинаковую долю движимого и недвижимого имущества и крестьян, и утверждение о несправедливости, допущенной по отношению к Николаю Дмитриевичу, должно отпасть. Мог ли «обделить» старшего и возрастом, и жизненным опытом брата, уже послужившего на государственной службе, знакомого с законами, младший Владимир, который родился в 1802 году и в момент раздела был всего-навсего шестнадцатилетним мальчиком?

Качественно земельные владения в Трухачёвке, Аленном Верху, Каменке были тоже сходны: все три представляли добротный чернозем.

Значительно меньше, чем братьям, пришлось на долю сестер, но таков был обычай, порядок распределения семейного имущества, переходившего от родителей к детям: сыновья становились продолжателями рода, фамилии, главами семей, которые надлежало основательно обеспечить, тогда как дочерям имущественная часть давалась лишь как приданое, дабы способствовать выходу замуж или быть «прожитком», если замужество не удавалось.

Владения братьев все же кое в чем отличались. Полная во всех отношениях равноценность полей и усадебных мест, естественно, не могла быть достигну-

та, и если из братьев кто при дележе несколько и выгадал, так это Алексей Дмитриевич. Его земельные владения были расположены более удобно: компактно, вокруг Трухачёвки или в непосредственной близости от нее, тогда как у Николая и Владимира треть их полей находилась в Усманском уезде, на расстоянии ста — ста пятидесяти верст от их основных усадеб. Да и местоположение Трухачёвки было более приятным, привлекательным. В полутора верстах под крутыми береговыми обрывами — река Воронеж. Можно догадываться, какой чистой и обильной водою была она тогда, сколько рыбы водилось в ней, в ее заводях, старицах. Если смотреть с правобережных бугров — вся другая сторона, за рекою, синела, как море, от сплошного разлива густейшего леса, скрывающего в себе сенокосные угодья с травой по пояс, озера, богатые разной пернатой дичью. При Петре, когда в Воронеже спешно сооружался для турецкого похода флот, по приречным лесам от устья до самого Липецка без всякой жалости походил топор дровосека, выбирая деревья помощней, постройней, покрепче. Но леса восполнили понесенные утраты: о петровских временах и строительстве флота жителям Трухачёвки и окрестных сел осталась память лишь в виде огромных гнилых пней, попадавшихся кое-где в лесных дебрях на заречной стороне.

В Аленном Верху, назначенном Владимиру и расположенном далеко от Дона, на открытой ветрам и солнцу равнине, не было таких природных красот, того, что дает близость к реке, большим лесным угодьям.

Скудновата водою и лесом была и Каменка, типично степное, совсем удаленное от больших рек селение. Низкорослые заросли кудрявого дубняка на склонах степных балок — вот и все окружающие Каменку леса. Мелкая узкая речушка, которую вернее назвать ручьем, струилась вблизи селения по белому каменистому овражному дну; из-за этих вымытых из толщи глины камней она и называлась Каменкой, передав это свое название возникшему у ее воды селению. Речушку перегораживала плотина, образуя небольшой мугноватый пруд: в нем поили скотину, крестьянские женщины полоскали белье, купались деревенские ребята.

То, что Алексей Дмитриевич получил Трухачёвку, лучшую против других частей, объяснялось тем, что он был уже семейным человеком, жена его была из здешних же мест, Трухачёвка была уже обжита Алексеем Дмитриевичем, благоустроена им для своей семьи. А Николай и Владимир были еще холосты, им все это только еще предстояло: обзаводиться семьями, облаживаться, привыкать к самостоятельности, к хозяйствованию...

## 20

Владимир, получив имущественную часть, в следующем 1819 году поступил на службу в Фанагорийский гренадерский полк, продолжал ее в 23-ем Егерском полку, затем находился в Рижском драгунском полку.

Служба проходила вполне благополучно, гладко, без всяких происшествий. Никто России в эти годы ниоткуда не угрожал, армии мирно стояли на местах своего расквартирования, и Владимиру Дмитриевичу за восемь лет своей армейской службы не пришлось участвовать ни в походах, ни в военных действиях. Офицером он был исправным, взысканий, замечаний от начальства не получал (в послужных списках, чтобы сказать об этом, употреблялась формула: «в штрафах не бывал»). Но и благодарностями особыми он не был отмечен: средний, старательный, обыкновенный служака.

В декабре 1827 года Владимир Бунин уволился из армии в отставку с чином поручика; женился (жену его звали Александра Федоровна), стал ожидать наследника, продолжателя своей мужской линии в роду. Но рождались одни девочки: Олимпиада (1835), Варвара (1838), Капитолина (1841), Мария (1844), Анна (1848), Александра (1849), Глафира (1850).

Владимир Дмитриевич, второй после Алексея Дмитриевича двоюродный дед И. А. Бунина, дожил в Аленном Верху до старости. Самое последнее упоминание о нем, какое пока удалось отыскать, относится к 1864 году. В списке потомственных дворян Землянского уезда Воронежской губернии за этот год указано, что после отмены крепостного права и отмежева-



ния в крестьянский надел земли у В. Д. Бунина осталось 199 десятин<sup>56</sup> г. Поскольку сына Владимир Дмитриевич не дождался, несмотря на все желание иметь, линия его с его смертью пресеклась, и то из земельной и иной собственности, что еще оставалось у него к концу жизни, — дробясь на части, разошлось по семьям дочерей. Олимпиада по мужу была Ярцева, Варвара — Тимченко, Капитолина — Сониная, Александра — Бородина.

## 21

Алексей Дмитриевич, оставшийся после раздела в Трухачёвке уже как полный, единоличный, законный владелец, прожил в ней еще почти сорок лет. Никакими особыми талантами и качествами природа его не отметила: он был самым обыкновенным, ничем не выделяющимся человеком, принадлежал к тому распространенному типу мелких русских помещиков, которые не были богаты (имение в Трухачёвке давало годового дохода 500 рублей), но, пользуясь даровым трудом крепостных крестьян, существовали еще вполне благополучно. Фигуры таких помещиков, образ их жизни, психология выразительно даны во множестве произведений русской литературы.

Умер А. Д. Бунин около 1856 года. Жена его Надежда Васильевна — в 1870 году.

Дед писателя Николай Дмитриевич поддерживал со старшим братом еще тесные отношения. Путь из елецкой Каменки в Верхнюю Мосоловку Усманского уезда и деревню Пацково лежал через Трухачёвку, и, проезжая в свое усманское имение или обратно, Николай Дмитриевич останавливался погостить в деревне, где родился и вырос, где в полном сборе, за исключением одной только умершей матери, проживала семья Буниных перед тем, как разделить поместья и разъехаться в разные стороны.

Вероятно, отцу И. А. Бунина не столь часто, но тоже случалось посещать Трухачёвку, имение своего дяди; окрестности деревни отлично подходили для охоты и на болотную, и на лесную дичь, а охоту он любил самозабвенно.

Но в дальнейшем, с появлением нового поколения

и потерей усманских владений, контакты между Буниными задонскими и елецкими стали слабее. Слишком разные дороги вели членов этих семей, далеко друг от друга отстояли места их обитания. Для И. А. Бунина и его братьев многие из потомков Алексея Дмитриевича были уже такими родственниками, которых они едва ли даже знали.

Чтобы не возвращаться больше к задонским Буниным, доскажем здесь, как сложилась судьба этой линии.

Но прежде будет уместно сделать небольшое отступление.

Уже столько имен и фактов прошло перед читателем, что может возникнуть вопрос: не излишне ли подробно автор статьи перечисляет родственников Бунина, существование которых никак не отразилось на биографии писателя и в его творчестве?

Что можно на это возразить?

Во-первых, еще рано судить, что нужно, а что не нужно для биографии Бунина. Биография изучена пока еще далеко недостаточно. По сути дела — изучение ее только начинается, буниноведение совершает еще первые свои шаги, только начинает складываться, и как заранее знать, какую роль может сыграть та или иная подробность из истории бунинской семьи. Каждая крупница сведений сейчас, когда происходит их накопление, важна и нужна, и может существенно пригодиться впоследствии.

Во-вторых, все больше исследователей включается в розыски материалов, относящихся к Бунину и его семейному окружению. Упоминания о Буниных встречаются же довольно часто в документах Воронежской, Тамбовской, Орловской, Тульской, Курской губерний, и необходимо уметь разбираться в ценности этих документов, в том, какое отношение к самому И. А. Бунину имеют называемые лица.

Не зная поименно всех тех, кто был с И. А. Буниным в том или ином родстве, исследователь может быть затруднен в своих поисках. Наряду с Буниными белёвской, рязской, мценской линий в делах и документах фигурируют и такие, которых ни к одной из этих линий отнести нельзя. Они вели свое особое, отдельное существование, и, по-видимому, были просто

однофамильцами первых. Ведь фамилия, как показано в начале очерка, возникла из корней местного языка, а это возникновение в процессе творчества имен могло произойти не однажды. Это неоспоримо подтверждается тем, что наряду с дворянами Буниными в исторических хрониках центральных российских областей оставили по себе след Бунины самых различных званий, в том числе и такие, которые из поколения в поколение были крепостными крестьянами. В актах XVII столетия, разысканных в Воронеже в середине прошлого века Н. И. Второвым и частично опубликованных дореволюционными историками-краеоведами в «Трудах Воронежской Ученой Архивной комиссии», имеется любопытная челобитная крестьянина Боршевского монастыря Матюшки Бунина «с товарищци», просящего позволения пойти на реку Осеред «по рыбенку». Среди бумаг, найденных Второвым, — переписка воевод, составляющая целое дело о крестьянине Ивашке Бунине. Ивашка по писцовым книгам «письма и меры Кирила Воронцова-Вельяминова» 1628 и 1629 годов состоял в крепостных за помещиком Исааком Алфёровичем Бегичевым в деревне Федякино Рязанского уезда, но бежал от барина с женою, детьми и внуками и обосновался в украинном городе Сокольске. Ему удалось наладить хозяйство, завести лошадей, коров, овец; сын его Филка (Филипп) записался в сторожевые казаки и служил в Усмани. По челобитью помещика Ивашка Бунин был все же разыскан и, хотя с момента побега прошло тридцать лет, а сам Бегичев давно уже умер, — принудительно возвращен со всем семейством на место прежнего жительства наследникам Бегичева.

В материалах бывшей Воронежской губернии немало бумаг, относящихся к некоему Герасиму Бунину и его потомству. Герасим Бунин принадлежал к духовному сословию, был дьяконом. Сын его Алексей Герасимович, родившийся в 1778 году, с 1796 года служил в консистории Воронежской семинарии и за выслугу чина титулярного советника и ордена св. Анны 3-го класса получил дворянство. На скопленные деньги он приобрел в деревне Андреевке Землянского уезда довольно значительное поместье. Потомство его было таким же многочисленным, как и потомство

Дмитрия Семеновича Бунина. Среди его внуков и правнуков встречаются офицеры старших чинов, даже полковники, учителя высших учебных заведений, юристы, получившие образование в С.-Петербургском университете.

Среди дворян Тамбовской губернии значится Иван Яковлевич Бунин, происходящий из канцелярских служителей. Первую попытку причислиться к дворянству он предпринял в 1826 году. В прошении<sup>57</sup> он указывал, что «первоначальный предок» его Аникей Никитин сын Бунин в 1692 году был жалован помещстной землей «по бывшему городу Сокольску, что ныне Липецкий уезд, в селе Избердеях». Но родственную свою связь с Аникеем Никитичем доказать просителю не удалось, притязания его были признаны неосновательными и отвергнуты.

Служба И. Я. Бунина протекала в ряде мест и довольно успешно: в Борисоглебском, а затем в Липецком духовном правлении, в Липецком земском суде, в Тамбовской удельной конторе, Тамбовском губернском правлении. Трижды он попадал под суд за нечистые дела, удачно выпутывался и к 1840 году дослужился до коллежского асессора, что по закону превращало его в потомственного дворянина<sup>58</sup>. Звание это он передал детям: сыновьям Якову, Павлу, Александру, дочерям Марии и Людмиле.

Яков, родившийся в 1836 году, учился в Тамбовской губернской гимназии, после нее вступил в Камчатский егерский полк, участвовал в обороне Севастополя. В 60—70-е годы — он борисоглебский уездный исправник, непреременный член Борисоглебского уездного присутствия по крестьянским делам. Последняя его должность (уже в девятисотых годах нашего столетия) — полицеймейстер города Одессы со званием генерал-майора. В Борисоглебском уезде в Заполатовской волости ему принадлежала деревня Хлуденёвка, Алексеевская тож.

Если не отличать всех этих Буниных, возможны путаница и ошибки, вплоть до самых нелепых. Не так давно два журналиста воронежской областной газеты «Коммуна» решили познакомить читателей с совхозом «Березовский», находящимся вблизи шоссе Воронеж — Задонск. От местных жителей они, очевидно,

услышали, что когда-то здесь были какие-то Бунины, и, не обременяя себя выяснениями, не зная никаких других Буниных, решили, что владельцем был не кто иной, как сам писатель. В своей статье они обрушились на него с гневными обвинениями, что вот де — описывал «имения с прудами и аллеями, с желтизной посыпанных песочком дорожек», вздыхал и нюхал цветы, а сам при этом был «феодалом», для «безудержной» эксплуатации крестьян держал управляющих-иностранцев, в своем барском высокомерии давал крестьянам позорящие их клички, и теперь потомки одного из них вынуждены носить фамилию Кретинины. Торопливые фантасты кроме незнания истории воронежских сел показали еще незнание родного языка. Фамилию Кретиных родили совсем другие корни. Кретиной в народном языке воронежских мест называется охатка камыша, болотной куги; крехтушей, крехтуном, крехтином зовется тот, у кого хриплый голос, кто охает, постанывает — крехтит... Среди крестьян воронежского края, воронежских посадских людей Кретиныны встречаются, начиная с XVII столетия (см. «Труды Воронежской ученой Архивной комиссии», вып. IV, Воронеж, 1908, раздел 11, стр. 262).

Селение же Бунина Колодец, где находится центральная усадьба совхоза «Березовский», и расположенное бок о бок с ним Петровское, фигурирующие в газетной статье, известные многим воронежцам, так как эти места, соседствующие с живописными берегами Дона, любят посещать многочисленные группы туристов, принадлежали действительно Буниным, но не пензенской, а ряжской линии, потомкам стольника Кузьмы, показанного в их родословной. Документы о происхождении и службе внука его Дмитрия Максимовича хранятся в Туле, в областном государственном архиве. Сын его Анатолий Дмитриевич назывался инженер-прапорщиком, владел землею и крепостными в разных губерниях. Самое большое имение было в Воронежской — в селе Лопатки, где А. Д. Бунин и проживал постоянно после того, как вышел в отставку<sup>59</sup>. Поместья эти перешли к сыну его Николаю Анатольевичу (р. 1785 г.), мичману флота. Он и положил начало селению Бунина Колодец, переведя в это дотолу

пустое место в 1828 году крестьян из деревни Никольской, Бунино тож, Усманского уезда<sup>60</sup>.

Итак, не будем отказываться от генеалогических подробностей, помня, что даже последняя мелочь может сослужить полезную службу, и поэтому продолжим рассказ о потомках Алексея Дмитриевича, двоюродного деда И. А. Бунина.

## 22

Потомство его составляли: дочь Варвара, родившаяся 5 июля 1818 года, и два сына — Алексей (р. 1827 г.) и Николай (р. 23 ноября 1837 г.). При рождении Варвары в восприемниках записаны Дмитрий Семенович и Олимпиада Дмитриевна Бунины — дед и тетка.

Младший из братьев Николай Алексеевич обучался в Воронежской гимназии, но в 1856 году, не закончив пятый класс, — видимо, в связи со смертью отца и возникшими семейными обстоятельствами, — поступил на службу в канцелярию посредника полюбовного размежевания земства Задонского уезда. В 1859 году был произведен в коллежские регистраторы и утвержден в должности письмоводителя. В 1865 году по выбору дворян принял обязанности заседателя Задонского уездного суда. В следующем году получил чин губернского секретаря, исполнял должность судебного следователя 2-го участка Задонского уезда. В 1881 году Воронежским губернским земским собранием был избран на должность непременного члена в Задонское уездное по крестьянским делам присутствие. Из относящихся к Николаю Алексеевичу бумаг видно, что после того, как братья поделили наследственное имущество, Трухачёвка осталась за Алексеем Алексеевичем, а Николай Алексеевич проживал на хуторе Никольском (верст 5—7 от Трухачёвки); земли за ним в Задонском уезде было 230 десятин.

Старший брат Алексей Алексеевич в 1859 году вступил в брак с Варварой Ивановной Сопиной, дочерью титулярного советника Ивана Федоровича Сопина из с. Александровского Бобровского уезда, венчание состоялось в селе Малая Приваловка. На небольших должностях Алексей Алексеевич дослужился

до чина губернского секретаря. Жил в Трухачёвке. От брака с Варварой Ивановной Сониной у него родилось девять детей: Константин (1863), Иван (1865), Надежда (1866), Николай (1868), Александр (1871), Лидия (1873), Антонина (1875), Александра (1879), Алексей (1881). Все они, за исключением Александра, нареченного в церкви с. Воронежская Лозовка, были крещены в селе Вертячем, в Никольской церкви. Ныне она не существует, как и прилежавшее к ней кладбище, на котором в разные времена были погребены многие из рода Буниных и Трухачёвых, в том числе участник Семилетней войны Савва Никонович Трухачёв, дочь его Александра Саввишна, прабабка И. А. Бунина, а также, по всей вероятности, и его прадед — Дмитрий Семенович Бунин.

Из детей Алексея Алексеевича старым жителям Трухачёвки помнится только Иван Алексеевич. В офицерском звании он участвовал в русско-японской войне, вернулся с нее контуженным. Семьи себе не завел, жил одиноко, в неряшливо содержавшемся, обветшалом доме. Хозяйствовать в деревне не стремился: сдавал землю в аренду. А затем, незадолго до первой мировой войны, вообще развязал себе руки: продал дом на своз, землю — местным крестьянам и переселился в Воронеж, чтобы быть ближе к проживавшим там братьям и сестрам.

## 23

Николай Дмитриевич, дед писателя, сделавшись владельцем Каменки, служить больше не пробовал. и во всех относящихся к нему бумагах, написанных при его жизни и когда его уже не было, так и остался с наименованием канцеляриста. Это даже еще не означало настоящего чиновника, а просто одну из низших, первоначальных должностей.

Вскоре после раздела Николай Дмитриевич женился.

В недавно вышедшей книге А. Бабореко о Бунине<sup>61</sup> в приводимых воспоминаниях жены писателя Веры Николаевны Муромцевой говорится, что жена Николая Дмитриевича была из рода Уваровых.

Но архивные документы называют ее иначе. Со-

хранилось «верующее письмо», иначе сказать — доверенность, данная 4 октября 1850 года дочерью Николая Дмитриевича Варварой Николаевной своему брату поручику Николаю Николаевичу, которое начинается так: «Любезный брат Николай Николаевич! Располагаю я имение свое, состоящее Орловской губернии Елецкого уезда в сельце Семёновском, Каменка тож, в Московском опекуном совете заложить, а имение, состоящее Тамбовской губернии Усманского уезда в сельце Крестительском, доставшееся мне с вами и прочими наследниками от бабки нашей усманской помещицы Прасковьи Расторгуевой, а также имение, состоящее Землянского уезда в сельце Долгуши, и деревянный дом в городе Нижнедевицке, доставшийся мне с вами ж и прочими наследниками от родственника нашего коллежского асессора Василия Сидорова Познякава, разделить...»<sup>62</sup>.

Стало быть, женою Николая Дмитриевича была Расторгуева, дочь усманской помещицы?

Бумаги Тамбовского архива<sup>63</sup> вносят уточнение.

Расторгуева — это была вторая фамилия бабки Прасковьи Григорьевны, по второму ее мужу Ивану Ефимовичу Расторгуеву, подпоручику в отставке и помещику села Кривка, Усманского уезда. А первым ее мужем был умерший подпоручик Василий Степанович Абрамов, владевший там же в Кривке землею и двумя крепостными «душами», отец ее сына Виктора (р. 1805 г.) и дочерей Анны (р. 1802 г.) и Ольги (р. 1803 г.). Обе они, как Анна, так и Ольга, годами своими подходили для Николая Дмитриевича в невесты. Женою его стала Ольга Васильевна.

Эти подробности естественно смыкаются с другими уже известными нам семейными обстоятельствами Буниных. Прасковья Абрамова-Расторгуева проживала в том же селе Кривка, откуда происходила Надежда Васильевна Мотякина, жена старшего брата Алексея Дмитриевича. Алексей Дмитриевич и Надежда Васильевна, надо думать, по старшинству своему и более зрелому опыту старались, конечно, руководствовать Николаем Дмитриевичем, помогать ему и советовать в житейских делах. Очевидно, что через их посредство и состоялось знакомство Николая Дмитриевича с Абрамовыми, определившее его выбор.



В том, что В. Н. Муромцева-Бунина допустила неточность, нет ничего удивительного: писала она воспоминания уже в очень преклонном возрасте, на чужбине, не имея под руками нужных справочных материалов, пользуясь, в основном, тем, что сохранила ее память, и, конечно, могла ошибиться.

Та же В. Н. Муромцева, основываясь на воспоминаниях отца И. А. Бунина, говорит, что Николай Дмитриевич был в браке счастлив. Жена его была красавица. Когда она умерла, говорит она далее, он сильно и долго тосковал.

Здесь, как и в следующих своих словах, передавал якобы рассказ отца Бунина о том, что Николай Дмитриевич повредился в уме, потеряв любимую жену, и еще оттого, что во время Крымской войны, когда сыновья его были в Севастополе, на него, спящего под яблоней в саду, внезапно от порыва сильного ветра посыпались яблоки,— Муромцева тоже допускает досадные ошибки. Доверившись ее запискам, некоторые литераторы повторили эти неверные факты в своих работах о Бунине, — повторил А. Бабореко, повторены они в первой сокращенной публикации этого очерка в журнале «Подъем» (№ 1, 1971). А между тем, документальные данные, которые удалось дополнительно недавно выявить, рисуют картину совсем по-иному.

Николай Дмитриевич умер гораздо раньше своей жены Ольги Васильевны.

В письме 1855 года<sup>64</sup>, написанном во время похода в Крым, с пути, братья Николай и Алексей, обращаясь к родным, оставшимся дома, в Каменке, называют только Христину Андреевну, жену Николая, «почтеннейшую тетиньку» Ольгу Дмитриевну, проживавшую по соседству в Бутырках, и сестру Варвару Николаевну. Ясно, что ни отца, ни матери в это время в живых уже не было. В поклонах домашним, согласно с эпистолярной формой того времени, всегда в первую очередь следовало начинать с родителей.

Ревизская сказка 1850 года по сельцу Семеновскому, Каменка тож<sup>65</sup>, о наличии дворовых людей и крестьян, владельцами указывает молодых Буниных — Николая, Алексея и Варвару. Это подтверждает, что ни дед Бунин, ни бабка не дожили до этого года.

Наконец, в формуляре о службе отца И. А. Буни-

на<sup>66</sup>, относящемся к 1845 году, в графе об имущественном положении родителей упоминается лишь родительница Ольга Васильевна, владеющая в Новосильском и Елецком уездах девяностами душ крестьян.

Как видим, из этих данных неопровержимо вытекает, что вовсе не дед, а бабушка Ольга Васильевна пережила Николая Дмитриевича и умерла где-то между 1845 и 1850 годами. Николай же Дмитриевич умер раньше 1845 года. Стало быть, печаль его по рано умершей жене, история с яблоками во время Крымской войны — все это не могло иметь места. В. Н. Муромцева, не располагая фактическими данными, в своей книге «Жизнь Бунина» просто выдала некоторые сцены из его произведений за действительные события семейной бунинской хроники.

Ольга Васильевна Абрамова вышла замуж за деда И. А. Бунина Николая Дмитриевича совсем юной, почти девочкой. Ей пришлось покинуть мать, сестру Анну, родственников, с которыми она была очень дружна, переселиться далеко от родных мест в бедную, скучную Каменку, принять на себя нелегкие заботы о хозяйстве, о благополучии семьи, о детях, которые вскоре появились. Письма ее домой, в Кривку, полны живой, неподдельной любви к близким ей людям, горечи от разлуки с ними:

«Милая маминька, как мне грустно, что не имею от вас известия и не знаю, живы ли вы, здоровы ли, что для меня в свете дороже всего. Я все время вас жду, но никак не дождусь, уже половина петровок прошла, а вас все нет. Если вы меня любите, то приезжайте, милая маминька, или уведомите, что вам можно приехать, мы за вами пришлем лошадей. Милый и любезный братец Иван Васильевич (младший брат. — Ю. Г.), милая сестрица Анна Васильевна! Мне так без вас грустно, что всякий день вас во сне выдаю. Мне кажется, кто бы сказал, что вы едете, то я от радости тронулась бы умом...»<sup>67</sup>.

Совсем не легка и беззаботна, как можно подумать, была жизнь молодой четы в Каменке, не полную чашу представлял их дом.

«...Такие хлопоты, что голова кругом идет, — жалуются своим близким Ольга Васильевна в другом

письме. — Все скирды перемолотили, а хлеба нет... У нас теперь остался один скирд ржи, и не знаю, достанет ли до нови. А денег своих не набрала, и Лагофету заплатить двести рублей принуждена была занять у дьячка сто рублей. Куда ни обернись — все горе, и не знаю, чем год дожить. Знаю и вашу нужду, да нечем помочь...»

Николай Дмитриевич, как рисуется это из писем Ольги Васильевны, оказался совсем не хозяйственным человеком, не отличался энергией, распорядительностью. Роль главной управительницы в имении целиком легла на его молодую, неопытную супругу: ей приходилось самой вникать во все дела, вести их, распоряжаться работами. Приписки, сделанные в письмах Ольги Васильевны рукою Николая Дмитриевича, хранят черты его характера — доброту, мягкость, любовное отношение к родственникам, простоту и непритязательность натуры. Скудны и незначительны эти свидетельства, но, видно, сама его жизнь была такой: ничем не примечательной ни внешне, ни внутренне, не оставившей по себе никаких заметных следов.

Литературоведы считают, что Николай Дмитриевич послужил прообразом Петра Кирилловича в «Суходоле».

## 24

Дети, родившиеся у Николая Дмитриевича, уже названы. Их было трое, так же, как у брата Алексея Дмитриевича, и, очевидно, из любви к брату и не без подражания, им были даны точно такие же имена. Дочь Варвара родилась первой — в 1822 году. В 1825 родился Николай. О рождении Алексея Николаевича, отца писателя, с исчерпывающей точностью сообщает некогда ему данное и сохранившееся в копии свидетельство:

«По указу его императорского величества дано сие свидетельство из Орловской духовной консистории недорослю из дворян Алексею Николаеву сыну Бунину по прошению его о рождении и крещении его на случай определения его в государственную службу в том, что рождение и крещение его, Алексея, в метрической Елецкого уезда села Злобина Воргол за 1827 год книге

запискою значится так: деревни Каменки у помещика Николая Дмитриева сына Бунина сын Алексей родился того 1827 года марта 11 и крещен того же числа. Восприемники: приходский священник Петр Семенов, села Знаменского деревни Озерок помещица девица Олимпиада Дмитриева дочь Бунина.

Таинство крещения совершал означенный священник Петр Семенов с причтом своим»<sup>68</sup>.

Все Бунины, обитавшие в северо-западном углу Елецкого уезда, знали эту церковь в селе Злобин Воргол. К ее приходу принадлежала Каменка. И Дмитрий Семенович, прадед, и брат его Никифор, и сын Никифора Аполлон, и Аполлоновы сыновья Владимир и Федор, к которым перешла отцовская усадьба, в будни и праздники, в одиночку и семейно, бессчетное число раз входили в ее дверную арку, стояли под ее темными сводами, слушая пение жиденского деревенского хора и, в меру своего умения, подтягивая певчим. В тесном сплетении с церковной обрядностью протекал тогдашний русский быт, ни одно сколько-нибудь значительное для человеческой жизни событие не обходилось без священника. В Злобино-Воргольской церкви Николай Дмитриевич крестил всех троих своих детей. В этой же церкви венчался с Людмилой Александровной Чубаровой отец писателя Алексей Николаевич Бунин. В Злобино-Воргольской церкви, — не той, что знали его дед и прадед, а уже перестроенной, обновленной, множество раз бывал и сам И. А. Бунин: ребенком, юношей, взрослым человеком, когда приезжал посетить родные места. Ее внешний и внутренний облик и прямо и трансформированно отразился не в одном его произведении. Заключительные строки «Суходола», звучащие, как поминальная месса ушедшему в небытие семейному прошлому, несомненно, несут в себе образ Злобино-Воргольской церкви, которая так неотторжимо вплетена в историю бунинского рода: «В летний день проедешь по жаркой, тихой и пустой деревенской улице, привяжешь лошадь у церковной ограды, за которой темно-зеленой стеной стоят, пекутся в зное елки. За откинутой калиткой, за белой церковью с ржавым куполом — целая роща невысоких

ветвистых вязов, ясени, лимов, всюду тень и прохлада. Долго бродишь по кустам, буграм и ямам, покрытым тонкой кладбищенской травой, по каменным плитам, почти ушедшим в землю, пористым от дождей, поросшим черным рассыпчатым мохом... Вот два-три железных памятника. Но чьи они? Так зелено-золотисты стали они, что уже не прочесть надписей на них. Под какими же буграми кости бабушки, дедушки? А бог ведает! Знаешь только одно: вот где-то здесь, близко...»<sup>69</sup>.

Для рассказа о Буниных, пожалуй, просто необходимы, и здесь им самое место, несколько слов о том, что же это было за село Злобин Воргол, в близком соседстве, в тесных контактах с которым шла жизнь бунинской Каменки, куда посылали прислугу, чтобы в деревенской лавочке купить что-либо нужное для дома, для кухни, вино, когда случались неожиданные гости, когда со звоном поддужных бубенцов заворачивал с большой дороги в усадьбу кто-нибудь из уездного начальства; что представляла собою та церковь, в которой, одетый в старенькое небогатое облачение, местный священник Петр Семенов под возгласы притча окунал в купель новорожденного Алексея Николаевича Бунина, и та, какую посещал молодой, а потом уже и известный всей читающей России Бунин, пополняя копилку своей художнической памяти так нужными ему наблюдениями.

В «Историческом описании церквей, приходов и монастырей Орловской епархии», изданном в Орле в 1905 году, сказано так:

«Село Злобин Воргол лежит на восток от г. Орла в 218 верстах и на северо-запад от г. Ельца в 25 верстах. Все село раскинулось по берегам реки Воргла, притока р. Сосны, впадающей в Дон. В 5 верстах от него находится станция Становая Сызранско-Вяземской ж. д. Хорошо орошаемая местность удобна для земледелия, но климат от реки сырой, располагающий к заболеваниям лихорадками. Почва почти везде черноземная. Основание села было положено, по сохранившемся преданию, в первой половине XVIII в., а образование прихода относится ко второй половине его. Название свое село получило от протекающей реки. Приход состоит из самого села Злобина Воргла и де-

ревень — Новоселидебной, Овсяного Брода, сельца Каменки, деревни Каменки, Арсеньевых выселок и Бутырок. Все население, состоящее из крестьян, муж. п. 1725 душ, женск. п. 1790 душ, занимается преимущественно земледелием. Построение первого храма в Злобине Воргле относится ко второй половине XVIII в., т. е. к периоду зависимости Ельца от Воронежской кафедры. Первый храм был деревянный во имя Покрова пресвятой Богородицы<sup>70</sup> и св. пророка божия Ильи, начатый постройкою по резолюции святителя Тихона, епископа Воронежского, 10 августа 1764 года и освященный 12 ноября 1766 года. Этот храм существовал, как видно из церковных ведомостей, до 1872 года, когда с разрешения епархиального начальства за ветхостью был упразднен, а лес от него употребили на выжигание кирпича для новостроящегося каменного храма. В 1872 году трапезная часть храма была уже закончена, и в ней освящен престол во имя пророка божия Ильи. В 1883 году была отстроена главная часть храма и освящена с престолом во имя Покрова пресв. Богородицы. В 1886 г. были освящены два придельных престола — во имя Успения божией матери и в память перенесения мощей святого и чудотворца Николая. Как главный храм с двумя придельными алтарями, так и трапезная часть его с колокольной, построены старанием и иждивением прихожан. Резные из дерева, покрытые позолотою иконостасы храма существуют в первоначальном виде со времени своего освящения. Во храме находятся две особо чтимые иконы, выписанные на средства прихожан со святой Афонской горы: одна во имя божьей матери, именуемая «скоропослушница», а другая икона святого и чудотворца Николая. Крутом храма в 1895 году построена на средства прихожан ограда из тесаного камня, крытая железом».

## 25

Варвара Николаевна, родная тетка И. А. Бунина, прожила свою жизнь в Каменке, никуда далеко не выезжая, так и не выйдя замуж. В. Н. Муромцева в своей книге воспоминаний<sup>71</sup> рассказывает, что, по семейным преданиям, к Варваре Николаевне сватался

товарищ брата Николая, офицер, но Варвара Николаевна ему отказала, а, отказав, неизлечимо нервно заболела. По словам В. Н. Муромцевой, Варвара Николаевна послужила прототипом тети Тони в «Суходоле». В книге приведены строки из письма одной из бунинских родственниц, княгини М. В. Голицыной, в девичестве Рышковой (усадьба ее родителей стояла в Озерках напротив бунинской по другую сторону пруда). Вспоминая минувшее, усадебных соседей, Голицына, близко знавшая семью Буниных, черты Варвары Николаевны рисует так: «Ее помню уже в глубокой старости. Она была небольшого роста, сторбленная, с бледным восковым овальным лицом, с крючковатым носом, а ее острый подбородок загибался вверх, и это мне в детстве напоминало открытый клюв птицы. Была она очень живая, веселая: помню, как у нас она играла на фортепьяно и пыталась что-то подпевать своим беззубым, шамкающим ртом. Она была как бы ненормальна. Жила она во флителе, в нескольких саженьях от дома Буниных в Каменке. Вообще она в жизни была очень неряшлива, ходила иногда без белья, в одном халате, но тщательно запахиваясь, и на голове ее был какой-то странный шлык, из-под которого торчали седые пакли волос. Однажды она лежала на траве и спала. Здесь же ходили куры, и петух, набросившись на нее, выклевал у нее глаз. Умерла она в возрасте 83 лет».

Дядю Николая Николаевича И. А. Бунину не пришлось знать, он умер еще до рождения Бунина — в январе 1859 года. Некоторое время Николай Николаевич находился на военной службе — в том самом Рижском драгунском полку, где когда-то служил его дядя Владимир Дмитриевич, — достиг чина поручика и в 1848 году вышел в отставку. В 1851 году он женился на Христине Андреевне Вороновой. Сын Петр родился в 1857 году, дочь Софья — 25 декабря 1858 года. Впоследствии Софья вышла замуж за Алексея Ивановича Пушешникова, губернского секретаря, имела в селе Глодове (Васильевском) дом и небольшую усадьбу. И. А. Бунин был очень привязан к этой семье, почти каждое лето проводил в доме Софьи Николаевны. Здесь ему хорошо работалось. В Васильевском написаны многие его рассказы, в том числе самый отточен-

ный по мастерству «Господин из Сан-Франциско». С сыном Софьи Николаевны Николаем Алексеевичем Пушешниковым у Бунина была тесная искренняя дружба.

## 26

Наследство, оставшееся от деда писателя Николая Дмитриевича, было невелико. К тому же поделить его должны были трое наследников.

Но и того, что досталось, по словам И. А. Бунина, отец его Алексей Николаевич «не пощадил. Беспечен и расточителен он был необыкновенно».

Страсть Алексея Николаевича к вину и картам, неумелость и небрежность в хозяйствовании привели семью к полному разорению и обнищанию. В девяностые годы у Алексея Николаевича не осталось уже ничего, бывали дни, и нередкие, когда ему и матери И. А. Бунина самым доподлинным образом нечего было есть.

Короткие записочки Алексея Николаевича старшему сыну Юлию, получавшему скромное жалованье на службе в Харькове, а затем в Москве (записки находятся ныне в музее И. С. Тургенева в Орле), — это сплошь просьбы о помощи, о деньгах, жалобы на свою бесприютность, бедственное положение:

«Верь, Юрий (так иногда в семье называли старшего сына. — Ю. Г.), я не стал бы тебя беспокоить, зная то, что ты всем друг и покровитель, вышли мне хоть рублей 20-ть, мне окончательно приходится быть без божьего приюта от ожидаемой вскорости стужи. Буду стараться отыскать себе подручное моим летам место в Ельце, чтобы не подохнуть с голода...»

На записке дата — 28 сентября 1893 года.

«Прошу тебя, единственную мою надежду, — вышли денег мне. Я живу у П. Н. (Петра Николаевича, племянника. — Ю. Г.), у которого самого обстоятельства дурны. У сестры жить невозможно, ее флигель топится по-черному, да и холод нестерпимый... Кроме того, у меня одежда верхняя плоха, нужно шубу переправить, пришли рублей 25, не откажи в крайнем положении отцу. Надеюсь на тебя, как на каменную гору...»



«Юрий, — вызывает еще одна записка, — купи мне табак и папиросной бумаги. Спички. Да захвати белого хлеба в день моего ангела и чего-нибудь прочего, хоть селедку, а то ничего нет...»

«Я ждал от тебя письма и на сапоги и брюки, пиджак деньжонок. Я совершенно нагой...»

Этим призывам о помощи вторят письма матери Бунина:

«Дорогой Юричка, благодарю тебя за деньги. Когда я их получаю, то всегда плачу, что твой труд проживаю, чему я виной. Но что делать? Ты хорошо знаешь, как все это было в нашей жизни и от чего пришлось вам трудиться...»

Казалось бы, Алексей Николаевич заслуживал естественное порицание со стороны его близких: в бедах, выпавших семье, в семейном развале, в том, что сыновья его рано остались без всякой родительской поддержки, виноват был только он. Но И. А. Бунин — и в письмах своей молодой поры, когда он принужден был нелегким трудом зарабатывать себе хлеб, стыдился показываться на глаза знакомым — так плохи были его башмаки и изношена одежда, и много позже, оглядываясь на прожитую жизнь, ни разу ни в одном слове не выразил к отцу недобрых чувств. Он как бы не считал себя вправе винить отца, роптать на него за все им содеянное по причине легкомыслия, роковых привычек. Напротив, в том, что говорил об отце Бунин, всегда неизменно присутствовала искренняя сыновняя любовь, любовь особая — имеющая заметно сострадательный, горьковатый оттенок, и от этого даже более пристрастная, чем была бы она, наверное, в другом, благополучном случае, будь отец более простым и уравновешенным человеком и сложись по-иному, легче и проще, вся бунинская семейная судьба.

Вот портрет Алексея Николаевича, нарисованный И. А. Буниным уже после смерти отца, в воспоминаниях 1915 года. Пороки и недостатки названы все, без утайки, им даже уделено едва ли не больше места и слов, чем достоинствам отцовского характера, но весь рисунок в целом не несет в себе ни капли упрека, в нем добрая, благодарственная об отце память, снисходительное, прощающее отношение даже к тем его чер-

там, из-за которых жизнь всей семьи повернулась так драматически круто:

«Отец, человек необыкновенно сильный и здоровый физически, был до самого конца своей долгой жизни и духом почти столь же здоров и бодр. Уныние овладевало им в самых тяжелых положениях на минуту, гнев — он был очень вспыльчив — и того меньше. До тридцати лет, до похода в Крым, он не знал вкуса вина. Затем стал пить и пил временами ужасно, хотя не имел, кажется, ни одной типической черты алкоголика, совсем не пил иногда по несколько лет (я рожден как раз в один из таких светлых промежутков) и не соединял с этой страстью никаких других дурных страстей. Учился он недолго (в Орловской гимназии), ученья терпеть не мог, но читал все, что попадало под руку, с большой охотой. Ум его, живой и образный, — он и говорил всегда удивительно энергическим и картинным языком, — не переносил логики, характер — порывистый, решительный, открытый и великодушный, — преград. Все его существо было столь естественно и наивно пропитано ощущением своего барского происхождения, что я не представляю себе круга, в котором он смутился бы. Но даже его крепостные говорили, что «во всем свете нет проще и добрей» его. То, что было у матери, он тоже прожил, частью даже раздарил, ибо у него была какая-то неутолимая жажда раздавать. Постоянная охота, постоянная жизнь на воздухе много помогли тому, что этот хороший, интересный и по натуре даровитый человек умер восьмидесяти лет легко и спокойно»<sup>72</sup>.

В своей книге «Жизнь Бунина» В. Н. Муромцева сообщает, что Иван Алексеевич всегда вспоминал отца «с несказанной любовью», и особенно часто — в последние месяцы своей жизни, не раз при этом говоря, что именно от отца унаследовал он свой художественный талант...

В молодости Алексей Николаевич служил в канцелярии Орловского дворянского депутатского собрания<sup>73</sup>, но недолго и без особых успехов, дотянулся только до первой ступени в табели о рангах: до чина коллежского регистратора.

Может быть, его жизнь осталась бы такой же бессобытийной и малосодержательной, как и у Николая

Дмитриевича, так же вся прошла бы в Каменке, в старом бревенчатом доме под почернелой соломенной крышей, но на юге России разразилась война, приведшая к осаде Севастополя, в помощь армии по губерниям стали формировать ополченческие дружины с офицерами-дворянами и ратниками из крестьян, и по выбору елецкого дворянства братьям Буниным Николаю и Алексею выпало идти воевать во главе 65-й Елецкой дружины.

## 27

Увесистое «Дело о формировании Орловского ополчения»<sup>74</sup> в основном наполнено слезными прошениями дворян уволить от службы, со ссылками на малолетних детей, на престарелых родителей, на расстроенные домашние дела, которые невозможно оставить, на болезни. «Известился я, — писал в своем послании Орловскому предводителю дворянства Скорятину некто Николай Рышков, как видно, умеющий тонко обращаться с пером и бумагою и весьма искусный в «плетении словес», — что г. г. дворяне Елецкого уезда в чрезвычайном собрании своем, бывшем для приведения во исполнение Высочайшего манифеста о народном ополчении, заочно (по случаю моей болезни) удостоили меня избранием в составляющееся ополчение по Елецкому уезду. Честь этого выбора, сознание всей важности призвания ополчения и всегдашняя моя готовность служить по мере сил моих государю и отечеству хотя невольно и влекут меня стать в ряды защитников, но так как к крайнему несчастью моему имею я от природы слабое здоровье и при том с давнего времени постоянно нахожусь одержимым сильным ревматизмом в ногах — при всем рвении моем лишен возможности быть полезным в такого рода службе...»

Почему-то все больше ссылались на ревматизм, невозможность ходить, пребывать на воздухе вне домашних стен. Очевидно, рассчитывали, что это будет самым веским аргументом: ополчение пешее, а главное для пешего войска — крепкие ноги.

Некоторые, не надеясь произвести впечатление одними своими пылкими заверениями, что они рвутся в

бой, да не пускают проклятые хворости, и только поэтому нет возможности исполнить свое желание на деле, присовокупляли врачебные справки примерно такого содержания, какую представил отставной штабс-ротмистр Андрей Иванов сын Мовчан. Чего только не нашел конотопский уездный врач А. Барановский у штабс-ротмистра Мовчана — и постоянную головную боль, и ломоту в костях «преимущественно по ночам», означающую хронический ревматизм, и общее лихорадочное состояние, решительно препятствующее Мовчану покинуть домашние пределы.

Некий штабс-капитан Кулешов, тоже желавший увольнения от Севастополя, представил многостраничное сочинение с описанием своей болезни и «результата оной».

Находились и отчаянные головы, готовые немедленно хоть в огонь, хоть в воду.

В прошении предводителю Скорятину коллежский регистратор Петр Иванович Косакович заявлял: «Как русский подданный предан верностью престолу Его императорского величества государя императора, и исполняя Высочайший Его императорского величества манифест о призвании к государственному ополчению, имею ревностное желание вступить в число ополчающихся к защите веры, отечества и царя, не щадя своей жизни до последней капли крови...»

Братья Бунины не отказывались, но и не рвались «ополчиться». Выпал жребий — и они приняли его как долг, от которого нельзя, совестно уклониться, с готовностью мужественно встретить все, что пошлет им в далеком Севастополе судьба.

Сборы в поход были хлопотливые и скорые. Было в них какое-то сходство с далекой стариной, когда примерно вот так же отправлялись из домов от своих семей на ратные дела во имя отечества. Тогда военный человек должен был снарядить себя и платьем, и оружием, приехать на добром коне, да взять с собою запас провианта и фуража на все время службы. Да чтоб был еще сзади «конь прост», — в запас, если устанет, захромает первый. Теперь каждому ополченческому офицеру надо было тоже на свои средства изготовить соответственный мундир, обзавестись всем нужным в дороге и на войне, кроме только оружия, взять

с собой надежную повозку и лошадь, чтоб было на чем везти свое имущество, запас домашней провизии.

14 апреля 1855 года Елецкий уездный предводитель дворянства доносил Орловскому гражданскому губернатору, кто из офицеров дружины уже прибыл к месту сбора. В списке означен и поручик Николай Николаевич Бунин<sup>75</sup>.

Алексей Николаевич прибыл к дружине еще раньше на две недели.

Вот из кого состояли командиры 65-й дружины Елецкого уезда, сформированной весной 1855 года и входившей в 9-ую дивизию 3-го корпуса:

«Начальник дружины полковник Федор Александрович Грушецкий.

Ротные командиры:

1. Ротмистр Иван Михайлович Звягин.
2. Ротмистр Дмитрий Иванович Апухтин.
3. Капитан Андрей Егорович Картавых.
4. Штабс-ротмистр Николай Николаевич Лопатин.

Субалтерн-офицеры:

1. Поручик Александр Владимирович Воронов.
2. Поручик Михаил Сергеевич Салтанов.
3. Поручик Николай Николаевич Бунин.
4. Поручик Александр Иосифович Ромашков.
5. Поручик Александр Дмитриевич Зыбин.
6. Поручик Николай Дмитриевич Арсеньев.
7. Подпоручик князь Александр Сергеевич Львов.
8. Подпоручик Семен Андреевич Коротнев.
9. Губернский секретарь Иван Васильевич Бородин.
10. Губернский секретарь Николай Борисович Акатов.
11. Губернский секретарь Константин Иванович Писарев.
12. Губернский секретарь Андрей Александрович Голостенев.
13. Прапорщик Николай Иванович Голостенев.
14. Коллежский регистратор Алексей Николаевич Бунин<sup>76</sup>.

Перед выступлением из Ельца произошли некоторые замены и перестановки. Николай Николаевич был назначен командовать 4-ой ротой. Алексей Николаевич вначале был квартирмейстером, но уже на походе заболел казначей, остался в Екатеринославе, и Алексея Николаевича попросили принять еще и казначейскую должность.

Отправляясь в поход к далекому Севастополю, братья Бунины взяли с собой денщиками двух своих крестьян — Андреяна Егорыча и Тимофея.

## 28

Помните сцену из «Севастопольских рассказов» Толстого: по пыльной дороге приближается к Севастополю излечившийся от раны поручик Козельцов, а из-за гор впереди ветер доносит до его слуха глухие взрывы и частую пальбу, похожую на барабанную дробь: движется навстречу длинный обоз, привозивший в Севастополь провиант, наполненный теперь иным грузом — больными и ранеными солдатами в серых шинелях, матросами в черных пальто, греческими волонтерами в красных фесках. Некоторые настолько бессильны, что неподвижно лежат на дне повозок и видны лишь исхудалые руки, ухватившиеся за рядки, да поднятые колени, мотающиеся от тряски в разные стороны...

А потом с горы открывается вид на бухту с мачтами затопленных кораблей, на море с неприятельским флотом, на белые приморские батареи, строения города. Лиловатые облака дыма беспрестанно встают на склонах желтых гор, окружающих город. В сумерках на этих же склонах — полыхание огней непрерывных пушечных выстрелов. Звезды светят со светло-серого неба, отражаясь в воде бухты, и, совсем как падающие звезды, прорезая мрак, летят и падают в воду свистящие бомбы и гранаты...

Все эти впечатления и еще множество им подобных пришлось изведать и офицерам ополчения братьям Буниным: встречать обозы с полуживыми, искалеченными людьми, видеть севастопольские курганы, покрытые дымом орудийной пальбы, слышать свист гранат и гремящие их разрывы.

Россия не была готова к войне, да еще против коалиции стольких держав — Англии, Франции, Турции, поддержанных Австрией и Пруссией. Тупая николаевская система, сковавшая в России мысль и инициативу, притушившая все порывы гражданской самостоятельности, жестокими карательными мерами поддерживавшая внутри государства обманную видимость тишины и общего довольства — неизбежно должна была обнажить свои пороки, свою гнилую сердцевину, и это случилось, едва лишь началась война.

Численность армии, ее оснащение, боевая сила лишь на бумаге, в казенных списках и отчетах были хороши, а в действительности — далеко отставали от обозначенных цифр и не годились в сложившейся для России обстановке. Вооружение многих пехотных частей состояло из кремнёвых ружей еще наполеоновских времен. Не хватало пороха и других боевых припасов. Флот представлял устарелые парусные суда, тогда как противник обладал несравненно более многочисленным флотом, и к тому же — из быстроходных, маневренных паровых судов новейшей конструкции. Отдельные русские военачальники в ходе войны показали неуязвимые образцы военного искусства и самоотвержения, но высшее командование было медленно, недальновидно, своими нерешительными, запаздывавшими распоряжениями оно не сводило героические усилия русских солдат и зачастую само, а не противник, становилось причиной провала операций, тяжелых поражений русских войск.

К концу лета 1855 года, когда Елецкая 65-я дружина, двигавшаяся из Ельца пешим ходом, достигла Крыма, битва за Севастополь находилась уже в своей последней трагической фазе. Сила англо-французских войск под Севастополем, беспрепятственно подвозивших резервы и припасы морем, непрерывно возрастала. Уже не было в живых контр-адмирала Истомина, организатора обороны центральной позиции русских войск — Малахова кургана. 8 июня был ранен руководитель всех инженерно-оборонительных работ в осажденном Севастополе Тотлебен. 28 июня смертельное ранение вывело из строя Нахимова.

С 5 по 8 августа 1855 года 800 орудий противника грохотали непрерывно. Потери русских войск ежеднев-

но составляли до 1000 человек. 24 августа Малахов курган подвергся новой усиленной бомбардировке. Его артиллерия умолкла. А 27 августа начался решительный штурм, и курган был взят французами. Дальнейшая защита Севастополя стала невозможной. Город представлял груды развалин. Артиллерийский огонь противника, захватившего доминирующую над Севастополем и бухтою высоту, вырывал теперь из рядов русских войск ежедневно по две с половиною — три тысячи человек.

Не оставалось ничего другого, как оставить Севастополь, перевести войска по понтонному мосту за бухту, на северную сторону.

Все, что могло гореть, было в городе зажжено, пороховые погреба взорваны, последние военные суда, стоявшие в бухте, затоплены. С отходом русских войск за бухту военные действия утратили ту остроту, какую имели все одиннадцать месяцев обороны города, но не прекратились. Неприятельские войска, владевшие городом, Байдарской долиной и низменностью вдоль реки Чёрной, прочно укрепившись на позициях, предпринимали диверсионные рейды к различным приморским пунктам в глубине русского тыла, чтобы вызвать панику и дезорганизацию, помешать снабжению северного Севастополя. Три французских кавалерийских полка в середине сентября высадились в Евпатории, нанесли поражение русской кавалерии, не ожидавшей этой диверсии. Затем союзные войска стали угрожать Николаеву, который, после падения Севастополя, был превращен в базу для снабжения русских войск. Исполняя этот план, 2 октября 1855 года сильный союзный флот подошел к Кинбурну, небольшой, слабо вооруженной крепости с полуторатысячным гарнизоном, прикрывавшей путь к Николаеву с моря, и после двухдневного орудийного обстрела заставил защитников сдаться.

Для отражения неприятеля русские войска предприняли несколько контрманевров. Участие в этих наступательных движениях составило первые действия елецких ополченцев на Крымском театре войны.

По окончании ее наиболее отличившиеся офицеры 65-й Елецкой дружины были отмечены наградами. Командующий дружиною капитан Картавых, сменив-



ший полковника Грушецкого, и поручик Салтанов получили ордена св. Станислава 3-й степени. Капитан Звягин был награжден орденом св. Анны 3-й степени. Трем офицерам: штабс-капитану Лопатину, поручику Голостену и отцу писателя прапорщику Алексею Николаевичу Бунину в «высочайшем приказе» было объявлено «монаршее благоволение»<sup>77</sup>.

В Воронежском областном архиве находится документ, добавляющий некоторые подробности к военной биографии Алексея Николаевича Бунина и содержащий сведения еще об одной полученной им награде:

«На основании положения, высочайше утвержденного 5 апреля 1856 года, о роспуске ополчения, п. 72, сделана сия надпись в том: согласно положения, высочайше утвержденного 29 января 1855 года об ополчении, прапорщик Алексей Николаев Бунин избран дворянством в Елецкую дружину, на сборный пункт которой прибыл 1 апреля 1855 года и назначен казначеем и квартирмейстером. Высочайшим приказом 26 мая того же года утвержден прапорщиком в Елецкую № 65 дружину, с которою был в походе против англичан, французов и турок с 15 июля по 1 сентября со сборного пункта из города Ельца в Крым; с 21 сентября по 25 ноября в движениях по Евпаторийскому и Перекопскому уездам по распоряжению генерал-лейтенанта Плаутина, с 25 ноября по 14 апреля 1856 года на передовой позиции у Северного Севастополя под начальством начальника войск и артиллерии Северных укреплений генерал-майора Шейдемана, а с этого числа выступил в обратный поход и прибыл в г. Елец 10 августа того же года.

За быстрое формирование дружины приказом по Государственному подвижному ополчению 18 августа 1855 г. за № 43 получил в числе прочих штаб- и обер-офицеров искреннюю благодарность Его императорского величества. В 1856 году всемилостивейше пожаловано в пособие полугодовое жалованье по внутреннему окладу. И за месячное (так в тексте. — Ю. Г.) стояние на Северной стороне Севастополя третное жалованье по внутреннему окладу. Сверх настоящей обязанности особых поручений по высочайшим повелениям от своего начальства не имел. Всемиловейших рескриптов не получал. В отпуску, в штрафах по су-

ду и без суда при дружине не был. К повышению чина аттестован достойным. К награждению знаком отличия беспорочной службы случаем, лишаящим его права на получение сего знака, — не подвергался. Ныне же высочайшим Его императорского величества приказом, в пятнадцатый день ноября 1856 года состоявшимся, уволен от службы по расформировании ополчения с чином коллежского регистратора и в награду отлично-усердной и ревностной службы его в ополчении всемилостивейше разрешено ему на основании высочайше утвержденного положения о роспуске Государственного подвижного ополчения в знак памяти о службе в оном носить на груди без ленты крест ополчения.

В чем подписом моим с приложением казенной печати сим удостоверяю.

Января 2 дня 1857 года.

Заведующий ополчением Орловской губернии свиты Его императорского величества генерал-майор и кавалер граф Барятинский I-й.

Печать красного сургуча»<sup>78</sup>.

## 29

Вернувшись в родную Каменку после крымской эпопеи, Алексей Николаевич вскоре женился на Людмиле Александровне Чубаровой.

Род Чубаровых, как и Бунины, записан в 6-ю часть родословной дворянской книги Орловской губернии.

В происхождении Людмилы Александровны есть одна любопытная черта.

Выше упоминалось, что у прадеда И. А. Бунина Дмитрия Семеновича была старшая дочь Глафира. О ней говорится в акте, составленном при разделе имущества в 1818 году: «...бóльшая всем нам сестра поручица Глафира Чапкина...»

Мужа Глафиры Дмитриевны поручика Чапкина звали Иван Яковлевич. Их дочь Анна Ивановна вышла замуж за штабс-капитана Александра Федоровича Чубарова и стала матерью Людмилы Александровны.

Происхождение Людмилы Александровны от Глафиры Буниной-Чапкиной доказывают документы Орловского областного государственного архива (фонд 779, д. 54, л. л. 147—148).

Получилось довольно замысловатое пересечение родственных линий, что бывало нередко в близко живущих, тесно общающихся дворянских родах и семьях.

И. А. Бунин знал о родственной связи между отцом и матерью. Тогда же, когда он пытался вычертить свою родословную, на другом листке он сделал запись о происхождении Людмилы Александровны и подвел итог: «Мать наша двоюродная племянница отцу».

Точная дата рождения Людмилы Александровны пока неизвестна. А. Бабореко в своей книге указывает 1835 год, но оговаривает — «по-видимому», а местом рождения называет Огнёвку, что совсем никак не могло быть. Людмила Александровна родилась в имении своих родителей в Озёрках. У нее был еще брат Иван (р. 2 февраля 1833 г., ум. 9 марта 1861 г.) и две сестры — Мария (ум. 22 августа 1867 г.), бывшая в замужестве за Владимиром Аполлоновичем Буниным, а после его смерти за помещиком Резвым, и Софья — в замужестве Петина (ум. до 1871 г.)

Александр Федорович Чубаров, отец Людмилы Александровны и дед Бунина по матери, в дворянскую родословную книгу был внесен 9 декабря 1802 года. Исходя из этого, можно примерно рассчитать, что родился он где-то в 1794—1796 годах и был ровесником деда по отцу Николая Дмитриевича.

По материалам ревизий 1834 и 1850 годов видно, что А. Ф. Чубаров и жена его Анна Ивановна владели небольшими имениями в сельце Озёрках Елецкого уезда и в неподалеку расположенном сельце Адоньеве (Польское).

В 1858 году А. Ф. Чубаров умер. Анна Ивановна разделила семейное имущество, почти все передала дочерям и сыну Ивану, себе оставила только усадьбу в Озёрках и немного земли с тремя крестьянскими дворами. После ее смерти в 1881 году усадьба в Озёрках с густым, запущенным садом, так любовно описанный Буниным в «Жизни Арсеньева» старинный дом у пруда с цветными стеклами в верхних половинах окон, с серыми деревянными колоннами, высокой крышей, с «заветной» столетней елью перед окнами зала, — перешли по наследству в семью Людмилы Александровны.

Портретные и нравственные черты своей матери И. А. Бунин со свойственной ему точностью нарисовал впоследствии такими словами:

«Мать ни в чем не походила на него (отца. — Ю. Г.) кроме разве доброты и здоровья, в силу которого она прожила тоже долго, несмотря на все горести своей жизни, на астму, изнурявшую ее в течение последних двадцати лет, и на тяжкий пост, который она, по своей горячей религиозности, возложила на себя и с редкой стойкостью переносила лет двадцать пять, вплоть до самой кончины. Отец ее тоже пил, но по-иному, культурнее, если можно так выразиться; послужив в военной службе, побывав за границей, пожив в Варшаве, он вообще выделялся среди помещиков, и воспитана была Людмила Александровна тоньше, чем Алексей Николаевич. Характер у нее был нежный, — что не исключало большой твердости при некоторых обстоятельствах, — самоотверженный, склонный к грустным предчувствиям, к слезам и печали. Преданность ее семье, детям, которых у нее было девять человек и из которых она пятерых потеряла, была изумительна, разлука с ними — невыносима. В пору же моего детства старшие мои братья были вдали от нее, отец все отлучался в тамбовское имение, пропадал на охоте, жил не по средствам, и, значит, немало было и существенных поводов для ее слез»<sup>79</sup>.

Мать любила и умела хорошо рассказывать — сказки, читанные истории, жизненные случаи, местные легенды, предания. Она и дворовые, среди которых тоже были занимательные рассказчики, по словам Бунина, первыми познакомили его с богатейшим красочным русским языком, разбудили в нем воображение, жажду словесного творчества.

Последние свои годы Людмила Александровна не имела постоянного, ей принадлежащего угла, жила в семьях своих детей — то в Грязях у дочери Марии<sup>80</sup>, которая вышла замуж за помощника паровозного машиниста Иосифа Адамовича Ласкаржевского, то в Ефремове у сына Евгения. Там, в Ефремове, она и скончалась в ночь с 15 на 16 июля 1910 года. Накануне она настояла, чтобы И. А. Бунин уехал, не присутствовал при ее кончине, так как знала, какое это произведет на него тяжелое, подавляющее впечатление...

В «Жизни Арсеньева», произведении во многом биографическом, — и вполне биографическом в том, что составляет его эмоциональный строй, чувствования и размышления героя, — свое отношение к матери Бунин высказал откровенней, дав волю своему сердцу, своей сыновней любви и той непроходящей боли, какую навсегда оставила в нем утрата матери:

«Мать была для меня совсем особым существом среди всех прочих, нераздельным с моим собственным: я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда и самого себя... С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. Всё и все, кого любим мы, есть наша мука, — чего стоит один этот вечный страх потери любимого!..

В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире, и да будет во веки благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках?»<sup>81</sup>

### 30

Причина, почему семья Алексея Николаевича Бунина обеднела и постепенно дошла до полного разорения, состояла не в одном его безалаберном характере, склонности к вину, картежной игре. И прежде помещики были не бог весть какие искусные хозяева в своих имениях, играли и пили не меньше. Утрату былого богатства, благосостояния переживало в это же время большинство дворянско-помещичьих семей, и связано это было с отменой крепостного права, с потерей возможности самовластно и неограниченно эксплуатировать даровой крестьянский труд.

Долго и неохотно, в продолжение нескольких царствований, решалось правительство на эту меру. Писались проекты, создавались комиссии, заседали, плодили вороха бумаги, — и на этом опять все надолго останавливалось. И только страх, что народ, приравненный к рабочему скоту, много раз встававший на открытую войну против своих угнетателей, сам, своею бунтарскою силою разорвет цепи рабства, заставил все-

таки отказаться от закона, который еще Радищев определил, как «только диким народам приличный», «знаменующий сердце окаменелое и души отсутствие совершенное».

Российский крестьянин мало что выиграл от реформы. Ее провели так, чтобы возможно меньше пострадали интересы дворян-землевладельцев. Малы, недостаточны были земельные наделы, отводимые крестьянам помещиками, и не бесплатно отдавались они, а за выкуп, который предстояло долго и трудно платить. Дворовые люди, которых к моменту реформы в 103 тысячах дворянских имений насчитывалось почти полтора миллиона, остались вообще без земли. Крестьяне (326 тысяч), принадлежавшие помещикам, у которых земельные владения были невелики, тоже не получили никакого экономического обеспечения, только право переселяться на казенные земли.

Крепостные крестьяне имели все основания быть недовольными царской реформой. Не того ждало и было вправе ожидать за века своего рабства и непосильного подневольного труда российское крестьянство.

Но и дворяне-помещики глухо роптали. Как-никак, с реформой они теряли десять с половиной миллионов бесплатных рабочих рук, на которых держалось все существование помещичьей системы.

История того, как судорожно пытались приспособиться к новым условиям дворяне-помещики, как безуспешно пробовали заменить бесплатного мужика машиною, выписанною от немецких и английских фирм, «рациональным» ведением хозяйства, как бестолково, без пользы для дела, в кутежах и нелепых «опытах» растратили они миллионы рублей правительственных ссуд, отпущенных для переустройства имений на новый лад, как очень быстро почти все имения оказались заложенными и перезаложенными в банках, а их владельцы — потерявшими на них права, — освещена широко и разносторонне в литературе и журналистике. Отличной иллюстрацией могут служить хотя бы записки тамбовского уроженца С. Н. Терпигорева «Оскудение».

Отпуская на волю крестьян, каждый помещик должен был по своему имению составить «уставную

трамоту»: ею определялись условия, на которых осуществлялось освобождение крестьян, величина выкупа, назначаемого за землю.

«Уставная грамота» сельца Каменка<sup>82</sup>, начавшая действовать 28 января 1862 года, интересна не столько условиями и обязанностями, какие налагались на каменных крестьян, — в этом грамота примерно повторяла типовые положения, то, что содержали в себе другие такие же грамоты, — сколько тем, что, в дополнение к чисто художническим описаниям, которые оставил нам Бунин, позволяет еще с одной стороны, через посредство некоторых цифр увидеть родовое бунинское имение, знаменитый нетленный Суходол.

Грамота подписана коллежским регистратором Алексеем Николаевичем Буниным, Варварой Николаевной Буниной, а вместо малолетних детей умершего Николая Николаевича, наследников его доли, — их матерью поручицей Христиной Андреевной Буниной (Вороновой). Из грамоты видно, что бунинская Каменка в год реформы и по числу людей, и по количеству земли была заурядным, близким к самой настоящей бедности имением. Как это происходило во многих усадьбах, где неразумная барская прихоть без всякой нужды окружала себя великим количеством слуг, — в Каменке тоже было непомерное количество дворни: 25 человек обоего пола<sup>83</sup>. А землепашцев, кормивших господ и всю их дворню, было всего восемь дворов.

Крестьяне эти засевали для себя на барском поле 72 десятины. Да еще под их дворами и усадьбами было 8 десятин.

Повинуясь манифесту и отпуская из крепостной зависимости крестьян, владельцы Каменки оставляли им полностью всю эту землю. На душу, однако, выходило немного: по две с лишним десятины, с которых и предстояло крестьянам кормиться, платить оброк, казенные налоги да еще копить деньги для выкупа этой земли в собственность. Но примерно такими же скудными были душевые наделы вообще по всей средней России...

Выкуп за всю «усадебную оседлость» грамота определяла в семьсот рублей. До выкупа пахотной земли крестьяне обязывались платить владельцам с каждого надела оброк 8 рублей 57 копеек в год или нести

барщину: мужчины 39 дней в году, женщины — 29. Эти цифры тоже примерно одинаковы с теми, которые писались в других уставных грамотах.

Об имеющихся в Каменке водопое, выгоне, прогонах для скота была достигнута договоренность считать их общими.

Подготавливая реформу, разрабатывая ее типовые статьи, наверху позаботились сделать так, чтобы сами крестьяне были тою силою, которая принуждала бы их соблюдать помещичьи интересы: в каждой грамоте стоял неременный стандартный пункт, — и в грамоте сельца Каменка он записан тоже, — что за исправное отбывание повинностей несет ответственность все сельское общество кругового порукою...

### 31

Людмила Александровна и Алексей Николаевич стремились иметь большую семью, но всех родившихся детей сохранить не удалось. В деревне, без нужных медицинских средств, вдали от умелых врачей трудно было уберечь детей от заболеваний. Для пятерых братьев и сестер И. А. Бунина они стали роковыми.

В 1857 году 7 июля в семье Буниных родился сын Юлий. 17 сентября 1858 года — сын Евгений.

Не слишком усердно занимавшийся в своей юности науками, Алексей Николаевич, однако же, Юлию и Евгению намеревался дать должное образование и для этого со всем семейством переселился в Воронеж, чтобы учить сыновей в гимназии. Воронеж привлекал тем, что в сравнении с Орлом был городом более крупным и благоустроенным, славился хорошими учебными заведениями.

Судьба старших сыновей сложилась разном.

Юлий окончил гимназию с золотой медалью. Будучи студентом, он примкнул к революционному движению, присутствовал на нелегальном съезде в Липецке, где партия «Земля и воля» раскололась на «Народную волю» и «Черный передел», был близко знаком с Софьей Перовской, дружил с известными революционерами А. Д. Михайловым, Германом Лопатиным, незадолго до 1 марта 1881 года встречался с Желябовым. Исключенный из Московского университета, Ю. А. Бу-



нин перебрался в Харьков, служил статистиком, одновременно активно участвуя в работе революционного кружка. Члены кружка располагали даже тайной типографией, печатали прокламации и брошюры для распространения среди крестьян. Некоторые из этих брошюр были написаны Ю. А. Буниным под псевдонимом Алексеев. В конце концов жандармы дознались, кто такой Алексеев. Юлий был арестован, заключен в тюрьму, затем его сослали на три года в родительское имение Озёрки, и еще долгое время после отбытия ссылки он находился под гласным надзором полиции. Многие годы он отдал журналистике, редактировал «Вестник воспитания», был заметной фигурой в столичных литературно-общественных кругах. В годы революции Ю. А. Бунин не покинул родину, остался в Москве. Умер он в 1921 году.

Евгений Алексеевич был наделен талантом живописца, учился у художника Мясоедова. Талант его приводил в восхищение многих знатоков. Но с еще большей силой, чем к искусству, его влекло к сельскому хозяйствованию. В 1885 году он женился на Анастасии Карловне Гольдман, падчерице винокура Отто Карловича Туббе, служившего в Глотове у помещика Бахтеярова. Чтобы скопить деньги на покупку земли, Евгений даже открыл в Озёрках лавку. Наконец, в 1892 году ему удалось приобрести небольшое имение (200 десятин) в деревне Огнёвке близ станции Бабарыкино на железнодорожной линии Елец — Ефремов. В Огневке часто бывал и подолгу жил молодой И. А. Бунин, занимаясь литературной работой. Там, например, переведена им «Песнь о Гайавате», написан «Листопад». Огневку под именем Дурновки Бунин изобразил в «Деревне». Там же прошли последние годы жизни Алексея Николаевича Бунина. Смерть отца (6 декабря 1906 года)<sup>84</sup>, революционные настроения, широко захватившие деревню в эти годы, заставили Евгения Алексеевича продать Огневку крестьянам и поселиться в Ефремове (на Тургеневской улице в доме № 47). Евгений Алексеевич дожил до 1932 года, работая преподавателем рисования в ефремовской средней школе № 1 и руководя студией, в которой молодые художники совершенствовали свое мастерство. Сейчас в школе № 1 стараниями преподавателей создан музей-

ный уголок, отражающий пребывание в Ефремове И. А. Бунина и художественно-педагогическую деятельность его брата Евгения Алексеевича.

## 32

Период, когда Бунины, покинув Каменку, ради обучения старших сыновей жили в Воронеже, по воспоминаниям писателя — на Дворянской улице<sup>85</sup>, растянулся на несколько лет. Алексей Николаевич проводил время в свое удовольствие, беззаботно, в кутежах, без счета мотая деньги, играл в картежном клубе, постепенно, но неизбежно проматывая свое состояние, пока жить в городе стало уже не на что, и Бунины принуждены были возвратиться в родные елецкие края, но не в Каменку, которая была прожита, а на хутор Бутырки, затерянный в полевой глуши, состоявший всего из трех крестьянских дворов с низенькими, крытыми соломой избами...

В Воронеже 22 октября (10 — по старому стилю) 1870 года и родился Иван Алексеевич Бунин, будущий писатель, которому суждено было внести своим творчеством такой бесценный вклад в русскую и мировую литературу. С этого осеннего воронежского дня, случившегося сто лет назад, дня, который как бы венчал собою длинную вереницу поколений, человеческих судеб, протянувшуюся сквозь века, началась уже собственная биография И. А. Бунина, летопись его сложной, долгой жизни...

---

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> В 7-й части «Гербовника» под № 15 можно прочитать: «Герб рода Буниных. В щите, имеющем голубое поле, изображен перстень, и вокруг одного ~~три~~ продолговатые серебряные креста. Щит увенчан дворянским шлемом и короною со страусовыми перьями. Намет на щите голубой, подложенный серебром».

<sup>2</sup> И. А. Бунин. Собр. соч., т. 9, стр. 254.

<sup>3</sup> Не лишним будет отметить, что ученые генеалоги прошлого века, опиравшиеся в своих изысканиях на глубокое знание русской истории, на тщательное изучение подлинных древних документов, относились к «Гербовнику» без всякого уважения и доверия. Например, известный генеалог Л. М. Савелов, автор ряда серьезных трудов, в своей книге «Дворянское сословие Тульской губернии» (М., 1904) дал «Гербовнику» такую совершенно уничтожающую характеристику (том 1, стр. 336):

«Казалось бы, что Общий Гербовник, как издание официальное, должен был бы быть вполне достоверным историческим источником, на деле же мы видим совершенно другое; к сожалению, он наполнен, от начала до конца, за редким исключением, вымыслами и легендами... Благодаря большому количеству вздора, вошедшего в это капитальное издание, должно-ствовавшее сделаться настольною книгою русского генеалога, оно по внутреннему своему содержанию почти не имеет никакой цены и должно быть отнесено к балласту в нашей небогатой генеалогической литературе».

<sup>4</sup> В 7089 (1581) году.

<sup>5</sup> С Гришкой Отрепьевым.

<sup>6</sup> В 7162 (1654) году.

<sup>7</sup> В 7172 (1664) году.

<sup>8</sup> ЦГАДА, ф. 210, оп. 18, Родословные росписи, № 98, л.л. 1—3.

<sup>9</sup> Там же, л. 1 об.

<sup>10</sup> «Саадак», или сагадак, или сагайдак, или сайдак (татарск.) — налучник, чехол на лук, обычно кожаный, тисненый, нередко убранный серебром, золотом, камнями, иногда шитый, бархатный. Встарь называли так и весь прибор: лук с налучником и колчан со стрелами. (В. Даль. Толк. словарь, т. 4, стр. 126).

<sup>11</sup> В. И. Шуйский.

<sup>12</sup> Это выражение существовало в XV—XVII веках и означало, что те, про кого так говорили, сражались мужественно и храбро, и это их поведение было замечено во время битвы самим великим князем или главным военачальником.

<sup>13</sup> Конный разъезд, назначенный разведывать неприятеля и внезапным налетом захватывать в плен его сторожки — боевые заставы, караулы.

<sup>14</sup> Имеется еще одно свидетельство о Леонтии Клементьевиче, относящееся ко времени, когда правительственные войска предпринимали действия против распространения разинского движения. В октябре 1670 года полковой воевода Я. Хитрово доносил в Москву в Разрядный приказ: «... послал я, холоп твой, к Шацкому твоих, великого государя, ратных людей, Левонтья Бунина с мещерины и с рейтары и с полковыми казаками, всего с ним 300 человек». (Крестьянская война под предводительством Степана Разина, М., 1957, т. 2, ч. II, стр. 135).

<sup>15</sup> Жильцами назывались дворцовые телохранители и исполнители мелких поручений. Чередуюсь, жили при дворе московских государей — отсюда и прозвание. В походах сопровождали царя под командою воевод из бояр. Предшественники лейб-гвардии российских императоров XVIII века.

<sup>16</sup> ЦГАДА, ф. 210, оп. 18. Родословные росписи, № 98, л. л. 4—8.

<sup>17</sup> С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. 2, стр. 542.

<sup>18</sup> С. Б. Веселовский. Исследования по истории опричнины. М., 1963, стр. 245.

<sup>19</sup> Списки дворян, находившихся на государственной военной службе и в качестве жалования и средства к этой службе наделенных земельными окладами.

<sup>20</sup> С. Б. Веселовский. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969, стр. 40—41.

<sup>21</sup> В. Даль. Толк. словарь, т. 1, стр. 141.

<sup>22</sup> С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. 2, стр. 405.

<sup>23</sup> Государственный архив Воронежской области, ф. 29, оп. 124, д. 159, л. 15.

<sup>24</sup> Старинная земельная мера, равнялась половине десятины. При трехпольной системе земледелия указывалось количество земли только в одном поле и добавлялось: «а в дву — по тому ж». Следовательно, 350 четвертей (четей) равны 525 десятинам. Так верстали по самой высшей статье — наиболее опытных, надежных служилых людей.

<sup>25</sup> Государственный архив Воронежской области, ф. 29, оп. 124, д. 159, л.л. 16 об.— 18 об.

<sup>26</sup> «Костенский участок Белгородской черты тянулся по Дону примерно на 12 км в пределах современных сел Александровки, Костенок и Рудкина. В донской пойме на левом берегу в этом месте есть заболоченные места, много озер, связанных с Доном протоками. Все же и здесь татары нашли подходы к Дону, броды, места переправ. Документы XVII в. отмечают наличие двух татарских перелазов через Дон на Костенском участке. Городок Костенск был построен в 1642 г. Дубовая острожная стена тянулась в длину на 52 сажени. Крепость представляла собой в плане прямоугольник, имелась одна башня. В 1676 г., по данным Белгородской сметной книги, в Костенске насчитывалось 139 детей боярских драгунской службы, 198 драгун, 13 пушкарей. Гарнизон располагал 7 пушками». (В. П. Загоровский. Белгородская черта, Воронеж, 1969, стр. 214—216).

<sup>27</sup> «Ольшанск был построен осенью 1644 г. на старом городище, вблизи устья речки Ольшанки, которая теперь называется Камышенкой. Крепость имела четырехугольную форму и располагалась на высоком, обрывистом берегу Тихой Сосны. Четыре башни располагались на углах крепости, две другие (проезжие) — в середине юго-западной и северо-восточной стен. Длина стен крепости равнялась 147 сажням. В 1677 г. в Ольшанске насчитывалось 230 детей боярских городской службы, 92 стрельца, 75 казаков, 32 станичника, 11 пушкарей, 30 служилых черкас. Гарнизон располагал 8 пушками». (В. П. Загоровский. Белгородская черта, Воронеж, 1969, стр. 200—201).

Леонтий Бунин был в Ольшанске воеводой как раз в ту пору, к которой относятся сведения о численности гарнизона. Среди древних воронежских актов, отысканных в прошлом веке краеведом Н. И. Второвым, имеется несколько «отписок» (донесений) Леонтия Бунина воронежскому воеводе — о появлении вблизи украинских городов татарских воинских людей и о бое с ними, о постройке стругов для отправления донскому казачьему войску хлебных припасов и т. д. (Труды Воронежской Ученой Архивной комиссии, вып. 5, Воронеж, 1914).

<sup>28</sup> Государственный архив Воронежской области, ф. 29, оп. 124, д. 159, л.л. 31 об.— 32.

<sup>29</sup> Там же, л. 2.

<sup>30</sup> Там же, л.л. 60—62.

<sup>31</sup> В а л о в о й — общий.

<sup>32</sup> Государственный архив Воронежской области, ф. 29, оп. 124, д. 159, л. 19.

<sup>33</sup> В. О. Ключевский. Собр. соч., М., 1958, т. 4, стр. 80.

<sup>34</sup> Там же, стр. 327.

<sup>35</sup> Провинциальные канцелярии возникли в 1719 году, когда территории каждой губернии (к этому времени их существовало 11) были разделены на несколько провинций. Общее число их по губерниям равнялось 50. Во главе стояли генерал-губернаторы, губернаторы, вице-губернаторы и воеводы. Эти должностные лица и управляемые ими канцелярии имели широкие полномочия в области административных, полицейских, финансовых и судебных дел. (Подробнее см. Н. П. Ерошкин. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968).

<sup>36</sup> Повытье — отделение, пай письменных или приказных дел в судах, стол, коим ведал повытчик, столоначальник. (В. Даль. Толк. словарь, т. 3, стр. 150).

<sup>37</sup> Вотчинная коллегия возникла из Поместного приказа, ведавшего раздачей, переходом поместий и вотчин, всякого рода земельными процессами, спорами по вопросам землевладения и межевания. Была открыта осенью 1722 года в Москве.

<sup>38</sup> Государственный архив Воронежской области, ф. 29, оп. 124, д. 159, л. 23 об.

<sup>39</sup> Там же, л. 19.

<sup>40</sup> «Основание города Хотин приписывается предводителю даков Котизону, по имени которого и назван был город. Сооружение Хотинской крепости относится ко времени господства здесь гетуэзцев, которые имели на берегу Днестра торговые станции и конторы. В XVII и XVIII веках Хотин был сильной крепостью, игравшей огромную роль в войнах русских и поляков с турками». (Энциклопедический словарь Бронгауза и Ефрона, т. 37а, стр. 588).

<sup>41</sup> Государственный архив Орловской области, ф. 5, д. 378.

<sup>42</sup> Там же, ф. 29, д. 1037.

<sup>43</sup> Равнялась 1/7 недвижимого и 1/4 движимого имущества мужа.

<sup>44</sup> ЦГАДА, ф. 1355, д. 971.

<sup>45</sup> Государственный архив Воронежской области, ф. 29, оп. 124, д. 159, л. л. 148—148 об.

<sup>46</sup> Там же, ф. 29, оп. 140, д. 102.

<sup>47</sup> Там же.

<sup>49</sup> Василий Федорович Мотякин выслужил свой офицерский чин в Воронежском мушкетерском полку. В Усманском уезде ему принадлежало немного земли, разбросанной по разным деревням, жительствова он в селе Кривка, в недалеком от Трухачевки расстоянии, по другую сторону реки Воронеж (Государственный архив Тамбовской области, ф. 166, оп. 19, д. 77).

<sup>49</sup> Государственный архив Воронежской области, ф. 29, оп. 30, д. 3.

<sup>50</sup> Там же, ф. 2, оп. 1, д. 8675.

<sup>51</sup> Там же, ф. 29, оп. 124, д. 159, л. 37 об.

<sup>52</sup> И. А. Бунин. Собр. соч., М., 1967, т. 9, стр. 254.

<sup>53</sup> Государственный архив Воронежской области, ф. 29, оп. 124, д. 159, л.л. 136—145 об.

<sup>54</sup> И. А. Бунин. Собр. соч., М., 1967, т. 9, стр. 254.

<sup>55</sup> Имение это находилось в роду Измалковых. У Афанасия Степановича Измалкова, отца Феклы, состоявшей в замужестве за поручиком Саввою Трухачевым, был еще сын Порфирий. Дочь Порфирия Марфа была замужем за надворным советником Позняковым. Она умерла бездетной, поэтому имение ее в дачах села Калабина Аленный Верх перешло по наследству к ее двоюродной сестре Александре Саввишне Бунинной, урожденной Трухачевой. (Государственный архив Воронежской области, ф. 29, оп. 131, д. 27, л. 476 об.).

<sup>56</sup> Государственный архив Воронежской области, ф. 29, оп. 71, д. 22, л. 595.

<sup>57</sup> Государственный архив Тамбовской области, ф. 161, оп. 52, д. 30а.

<sup>58</sup> Там же, ф. 161, оп. 66, д. 182.

<sup>59</sup> Там же, ф. 161, оп. 14, д. 35, л. 5.

<sup>60</sup> Сведения эти разысканы воронежским краеведом В. А. Прохоровым и содержатся в его личной картотеке «Населенные пункты Воронежской области».

<sup>61</sup> А. Бабореко. И. А. Бунин. Материалы для биографии. М., 1967.

<sup>62</sup> Государственный архив Орловской области, ф. 779, д. 44, л. 432.

<sup>63</sup> Государственный архив Тамбовской области, ф. 161, оп. 68, д. 83.

<sup>64</sup> Государственный музей И. С. Тургенева в Орле, ф. 14, № 7870 о. ф.

<sup>65</sup> Государственный архив Орловской области, ф. 779, д. 44, л. 432.

- <sup>66</sup> Там же, ф. 4, д. 2497, л.л. 322 об.— 323.
- <sup>67</sup> Государственный музей И. С. Тургенева в Орле, ф. 14, № 783 о. ф.
- <sup>68</sup> Государственный архив Воронежской области, ф. 29, оп. 124, д. 159, л. 146.
- <sup>69</sup> И. А. Бунин. Собр. соч., М., 1965, т. 3, стр. 186—187.
- <sup>70</sup> В «Суходоле», в VI главе: «На Покров, престольный праздник в Суходоле, Петр Петрович назвал гостей...»
- <sup>71</sup> В. Н. Муромцева. Жизнь Бунина, Париж, 1958.
- <sup>72</sup> И. А. Бунин. Собр. соч., М., 1967, т. 9, стр. 254—255.
- <sup>73</sup> Поступил 30 июня 1843 года.
- <sup>74</sup> Государственный архив Орловской области, ф. 580, стол 4, д. 1394.
- <sup>75</sup> Там же, л. 330.
- <sup>76</sup> Там же, л. 18.
- <sup>77</sup> Там же, д. 1097, л. 1.
- <sup>78</sup> Государственный архив Воронежской области, ф. 29, оп. 124, д. 159, л.л. 197—197 об.
- <sup>79</sup> И. А. Бунин. Собр. соч., М., 1967, т. 9, стр. 255—256.
- <sup>80</sup> Родилась в Воронеже 27 марта (н/ст) 1873 г., умерла 5 ноября 1930 г. в Ростове-на-Дону.
- <sup>81</sup> И. А. Бунин. Собр. соч., М., 1966, т. 6, стр. 15.
- <sup>82</sup> Государственный архив Орловской области, ф. 36, д. 191.
- <sup>83</sup> Литературоведам, да и просто читателям Бунина, вероятно, будет интересно узнать, что в ревизских сказках сельца Каменки среди усадебных слуг упоминается дворовый Гervasий Тихонович. Отмечен он и при последней ревизии 1858 года — вместе с женою Лукерьей Ивановной, сыном Сергеем и дочерьми Марией и Аполлинарией. Гervasий Тихонович родился в самом начале века, в пятидесятых годах был уже пожилым человеком, стариком. Несомненно, что, создавая в «Суходоле» образ Гervasия Куликова, молодого, дерзкого слуги и убийцы старого барина Петра Кирилловича, И. А. Бунин лишь воспользовался именем бывшего крепостного.
- <sup>84</sup> Похоронен в селе Грунино-Воргол в ограде тамошней Георгиевской церкви. Могила не сохранилась.
- <sup>85</sup> Переписка автора этой статьи с племянником писателя Николаем Иосифовичем Ласкаржевским, живущим в Бобруйске, позволила точно установить, где квартировали Бунины в Воронеже. Дом этот сохранился, стоит в самом начале проспекта Революции под № 3



## СОДЕРЖАНИЕ

Вспоминая Паустовского . . . . .	3
Предки Бунина . . . . .	79
Примечания . . . . .	174

**Юрий Данилович Гончаров**

**ВСПОМИНАЯ ПАУСТОВСКОГО.**

**ПРЕДКИ БУНИНА**

Редактор В. В. Будаков. Оформление Леонида Летова. Художественный редактор С. Г. Ратмирова. Технический редактор Н. И. Орлова. Корректор Л. В. Романова. Сдано в набор 1/X 1971 г. Подписано в печать 29/III 1972 г. ЛЕ08018. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Усл. печ. л. 10,72. Уч.-изд. л. 10,47. (Вклады уч.-изд. л. 1,20). Бумага № 3, Цена 55 коп. Тираж 15 000 экз. Заказ 13766. Центрально-Черноземное книжное издательство, г. Воронеж, ул. Цюрупы, 34. Типография издательства «Коммуна», г. Воронеж, пр. Революции, 39.



*Героѣ рода*



*Бунинскіе*

